

Михаил КОЖАЕВ

ПЕРЕПЕЧАТНИК

Том 1

Амфитеатров А. В.

Поездка на Валаам (1899)

Тула

2026

Кожаев М. **Перепечатник, том 1**: Амфитеатров А. В. Поездка на Валаам (1899). Тула, 2026. – 72 с.

Предисловие перепечатника

«Перепечатник» – это литературный проект, в рамках которого дореволюционные русскоязычные тексты буквально перепечатываются в орфографии и пунктуации современного русского языка образца первой четверти XXI века.

Впрочем, наречие «буквально» вряд ли следует воспринимать буквально. И вот почему.

Начнём с определения: перепечатник – это тот, кто перепечатывает. Это даже не переводчик, потому что и исходный, и конечный текст – на русском языке. Так в чём смысл, если есть копировальный аппарат? Дело в том, что такое перепечатывание происходит с русского языка XIX века на русский язык XXI века. И если вы считаете, что вся суть подобной работы сводится к удалению буквы «ер» (ъ) в конце согласных, то всё обстоит не так просто и ценность затеи раскрывается во многих аспектах.

Однако – давайте начнём с начала.

Меня зовут Михаил Кожаев, я самоидентифицирую себя как писателя, а вообще преподаю на кафедре теологии ТулГУ, каковую в своё время и окончил. Поэтому обращение к литературе дореволюционного периода и, скажу больше, к славянской письменности – вполне естественное и даже необходимое явление. Читать не только с «ерами», но и с ъ, љ и њ – всё это вполне привычно для любого второкурсника.

Поэтому понять книгу XIX века лично мне не проблема. Но очень часто хочется иметь под рукой её «современный русский» перевод. Вернее, не перевод, конечно, но – перепечатать. Так чтобы скинуть приятелю, который «не в теме», чтобы он беспрепятственно прочитал, о чём люди писали двести, триста, а иногда и пятьсот лет назад. Так возникла идея «Перепечатника» – сурового литературного проекта, в котором я лично брал бы на себя ответственность за дотошный до тошноты и скрупулёзный до слёз «перевод».

Я спрашивал у своих преподавателей, наставников, у друзей и знакомых – подскажите, что бы мне такого перепечатать? я возьмусь с удовольствием и подготовлю для вас современный текст совершенно бесплатно – вы только скажите, какой! Но, увы, за двадцать лет просьб и увещеваний я так и не услышал ни одного мало-мальски вдумчивого предложения или ответа. И

что же? В сорок лет я, наконец, понял: и зачем же я всё это время спрашивал? Видимо, я до конца не верил в инертность окружающих. И тогда просто сказал себе: возьми первый понравившийся тебе текст – и перепечатай его! А если тебе понравится – перепечатывай по одному тексту в год, и будет тебе счастье! Так мне подумалось в самом конце 2025 года – буквально 29 или 30 декабря.

С этим новым для себя открытием я вспомнил «Поездку на Валаам» – неоконченную повесть Александра Амфитеатрова, которую тот написал в 1899 году – и решил перепечатать её. (Почему я сделал выбор в пользу этой повести, я не скажу, это личное). Повторюсь: перепечатать просто так, безо всякой цели, тем более меркантильной. И выложить современный текст на всеобщее обозрение – во благо всем живущим.

Я никуда не торопился с первой в своей жизни «перепечаткой», но с таким удовольствием сел за клавиатуру в самом начале января 2026 года, что закончил уже в марте. Правда, и страниц оказалось не так много – всего 70. Однако ради справедливости надо заметить, что искать определений и объяснений разным словам и выражениям пришлось гораздо дольше, чем я ожидал вначале. И чтобы вам было понятней и о цели «Перепечатника», и о первом томе серии, давайте расскажем о публикуемом произведении.

«Поездка на Валаам» – повесть нашего публициста и прозаика Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862–1938). Также он печатал мистические и сатирические сочинения под псевдонимами “Old Gentleman”, «Московский Фауст» и другими.

С произведениями А.В. Амфитеатрова я знаком, надо сказать, если не с гимназической, то со студенческой скамьи. Прекрасно помню, как в 2003 году купил книгу под броским названием «История сношений человека с дьяволом». Издание было надписано единственным автором – Михаил Орлов. Но достаточно было перевернуть обложку и открыть третью страницу, как там уже значился дуэт Орлова с Александром Амфитеатовым. Тем самым, там он отвечал за закрывающий блок «Дьявол в быту, легенде и в литературе средних веков». Та книга до сих пор хранится в моей библиотеке.

А вот, собственно, фото Амфитеатрова разных лет: в юности он похож на молодого Дениса Мацуева, а в зрелом возрасте – на юного Яна Непомнящего. Впрочем, это очередные мои домыслы, и обо всём судить только вам:



Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) –
автор «Поездки на Валаам» и других духовных исследований

Отец Александра Амфитеатрова был, на минуточку, настоятелем Архангельского собора Московского кремля. Он сам публиковал очерки из ветхозаветной истории и был известным автором своего времени. Мама Амфитеатрова тоже происходила из рода протоиереев, но, кроме священнослужителей, среди её родственников были и профессора.

Сам А.В. Амфитеатров в 1885 году окончил Московский университет, но профессию юриста отверг, поскольку всегда имел тягу к изящной словесности и изысканному пению. Да-да, Александр Амфитеатров выступал как оперный певец и даже был зачислен в труппу Мариинского театра. Но вскоре избрал писательскую стезю и стал сотрудничать с разными изданиями.

Пик успеха Амфитеатрова пришёлся на 1890-е годы. Тогда он фактически возглавлял газету «Россия», которая издавалась на средства знаменитого мецената Саввы Мамонтовы. Но здесь он опубликовал неприятную сатиру про жизнь царской семьи, и в 1902 году Амфитеатрова сослали на 5 лет в Минусинск – это в сегодняшнем Красноярском крае. Впрочем, вскоре, с учётом заслуг престарелого отца, писателя перевели в Вологду, а оттуда он вернулся в Петербург.

Так Амфитеатров и дрейфовал от одного города к другому, по мере публикаций с разными зашифрованными обличениями. До 1916-го он жил то во Франции, то в Италии, затем вернулся в Россию, здесь его арестовали и

этапировали в Иркутск. В судьбу писателя вмешалась Февральская революция, и он вновь оказался в столице, теперь уже называвшейся Петроградом. Александр Валентинович редактировал газету казачьих войск, выступал против большевиков и, в итоге, бежал в Финляндию, а оттуда – в Чехию и Италию. Здесь, в коммуне Леванто, он умер спустя 20 лет – в 1938 году.

«Поездка на Валаам» (1899) стала одной из многих путевых заметок Амфитеатрова-следопыта. В этих записях он рассказывает о контингенте путешественников, отправляющихся на святой остров, о быте на пароходе, о промежуточных остановках и о природе самого Валаама. Автор рассуждает об Иисусовой молитве и о бесстрашных животных-обитателях островов Ладожского озера, о суровом постничестве местных отшельников и о трапезе для приезжих паломниках.

Читая «Поездку на Валаам», ты её буквально представляешь в каждом абзаце текста. Сегодня Амфитеатров, несомненно, был бы успешным тревел-блогером. Впрочем, он таким, пожалуй, и был, только вместо гоу-про-камер у него был блокнот для записей и издательства, которые взвешивали за и против: публиковать такие заметки или нет.

В результате заметки Амфитеатрова вышли в издании «Русские были. Том двадцать третий. Собрание сочинений А.В. Амфитеатрова. С.-Петербург: Книгоиздательское Товарищество Просвещение, Забалканский просп., соб. д. №75, 1914»¹ (с. 267–352). Сочинение было

Содержаніе.		Стр.
Зыбковское сидѣніе. Старина Стародубской Украины		3
Духовенство въ 1812 году		33
Опальная могила		113
Таинственная незнакомка		135
Прабабушка интеллигенціи		161
Неудавшійся Гарибальди		191
Московскій городской голова Алексѣевъ		211
Васнецовскіе богатыри		251
Поѣздка на Валаамъ		267

датировано 1899-м годом, а в конце автор заметил: «Очерки эти не были мною окончены... Говорят, за семь лет Валаам изменился до неузнаваемости к худшему. Жаль, если так. Значит – пусть мои очерки останутся памятником красивого и, конечно, уже невозвратного прошлого... 1906». Следовательно, описанные заметки мы с уверенностью относим к 1899 году, что и отражено в титульном листе и прочих местах издания.

Вот, казалось бы, и всё, что нужно было предварительно рассказать о задумке и её реализации. Но! как много в ходе работы оказалось нужно

¹ Первоисточник можно посмотреть вот здесь – на сайте Национальной электронной библиотеки: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004001556?page=279&rotate=0&theme=white

исследовать, прокомментировать, снабдить пояснениями и перевести в современную меру длин и весов – это уж, поверьте, совсем не тот «перевод» с русского на русский, который представляется обывателю! Судите сами.

К счастью, – явление №2: входит первая финнка. Эта, оказывается, тоже по-русски не говорит и мало понимает, а только притворяется знающей по-русски, умея сносно произносить несколько фраз; но – по крайней мере – хоть кухонные-то и пароходные слова зазубрила отчасти. Опять-таки – верх

Къ счастью, -- явлєніє Но 2: входитъ первая финника. Эта, оказывается, тоже по-русски не говоритъ и мало понимаетъ, а только притворяется знающей по-русски, умѣя сносно произносить нѣсколько фразъ; но,-- по крайней мѣрѣ,-- хоть кухонныя-то и пароходныя слова зазубрила отчасти. Опять-таки -- верхъ заботливости пароходнаго общества о публикѣ, которая его

*Скриншот того, как выглядел процесс перепечатывания произведения:
внизу – исходник, вверху – современный текст*

Да, не представляет ничего сложного перепечатать «языкъ» как «язык» и «по крайней мѣрѣ» как «по крайней мере». Однако любителю русского языка будет, пожалуй, интересно, сколь много пришлось «отредактировать» просто в процессе стилизации текста под стандарты современного языка! Ведь, согласитесь, было бы нелепо оставлять без изменений выражения типа «дальняго», «каютою» и «которою». Причём если конструкцию «с ещё более юною» я оставлял без изменений, то «с ещё более юною барышнею» превращал в «с ещё более юною барышней». Слишком уж «с юною барышнею» режет современный слух.

А вот послушайте ещё изменения, которые бы условный ИИ не внёс в текст, потому что «и так сойдёт»:

- Приставка «раз»: в XIX веке нормой было писать «рассказавшему» – теперь же только «рассказавший».

- «Дальняго» сегодня следует писать как «дальнего», а «хорошія» – как «хорошие».

- Выражения в кавычках раньше писались с маленьких букв, например: он сказал: «привет». Сейчас предложения в кавычках пишутся с заглавной: он сказал: «Привет».

- Кстати, по поводу «сейчас». 150 лет назад выражение бытовало в смысле «сей же час» и писалось раздельно. В «Поездке на Валаам» можно встретить такую фразу: «К кому ни приду – сей час монопольное напутствие, потому что народ мастеровой».

- Второе кстати: в части «потому что народ мастеровой» я восстановил «что». Раньше в конструкции «потому что» второе слово часто выпадало, так как смысл был понятен и без него. В оригинале повести значилось «потому народ мастеровой», и правильнее было «перепечатать» текст как «потому [что] народ мастеровой», но я публиковал не научный, а литературный труд, поэтому просто написал так, как написал бы сегодня любой другой автор.

- «Стало-быть» и «то-есть» писались через дефис, а «повидимому» – слитно. Сейчас правила требуют ровно обратного.

Оказалось, что русский язык XIX века во многих чертах отличается от современных норм. Слово «ведь» облекалось запятыми, «посуху» писалось «по-суху», а «вживую» – «вживе». Полтора века назад вообще многое обозначалось иначе. Солонка называлась сольница, зверёк – зверок, а ремесло – рукомесло. Но в этих странных, на наш сегодняшний слух, словах раскрывается их истинное содержание: руками месить – вот тебе и рукомесло, то есть ремесло. Всё это угадывается инстинктивно, хотя, признаться, я первый раз слышал это слово – «рукомесло». Равно как и выражение «без приуки», то есть: без приучения, их к тому не приучают. Слово новое, но воспринимается легко и даже с восторгом!

Или возьмём слово, которое за истекшие десятилетия приобрели другое наполнение. Что означает слово «покрышка»? Конечно, вы сразу представите шину автомобиля или велосипеда. Но почему она покрышка? Правильно: потому что покрывает собой обод колеса. Но она не обязана покрыть именно это. И вот Амфитеатров «покрышкой» обозначает... верхний этаж кают на пароходе для пассажиров первого класса. Где едут «сливки общества»: сливки ведь тоже образуются наверху. Вот такие забавные экзерсисы со словами.

Многие старые конструкции более точно передают смысл, хотя сегодня это назвали бы ошибкой. Сравните, например: «нечто в роде» – то есть нечто в данном роде, «кланялся ему в след» – то есть в то место на земле, где остался его след. Конечно, эти выражения я «перевёл» в соответствии с современными нормами: «вроде» и «вслед», – но они заставили меня задуматься, почему мы говорим так, а не иначе, и не следует ли более открыто подходить к правилам языка?

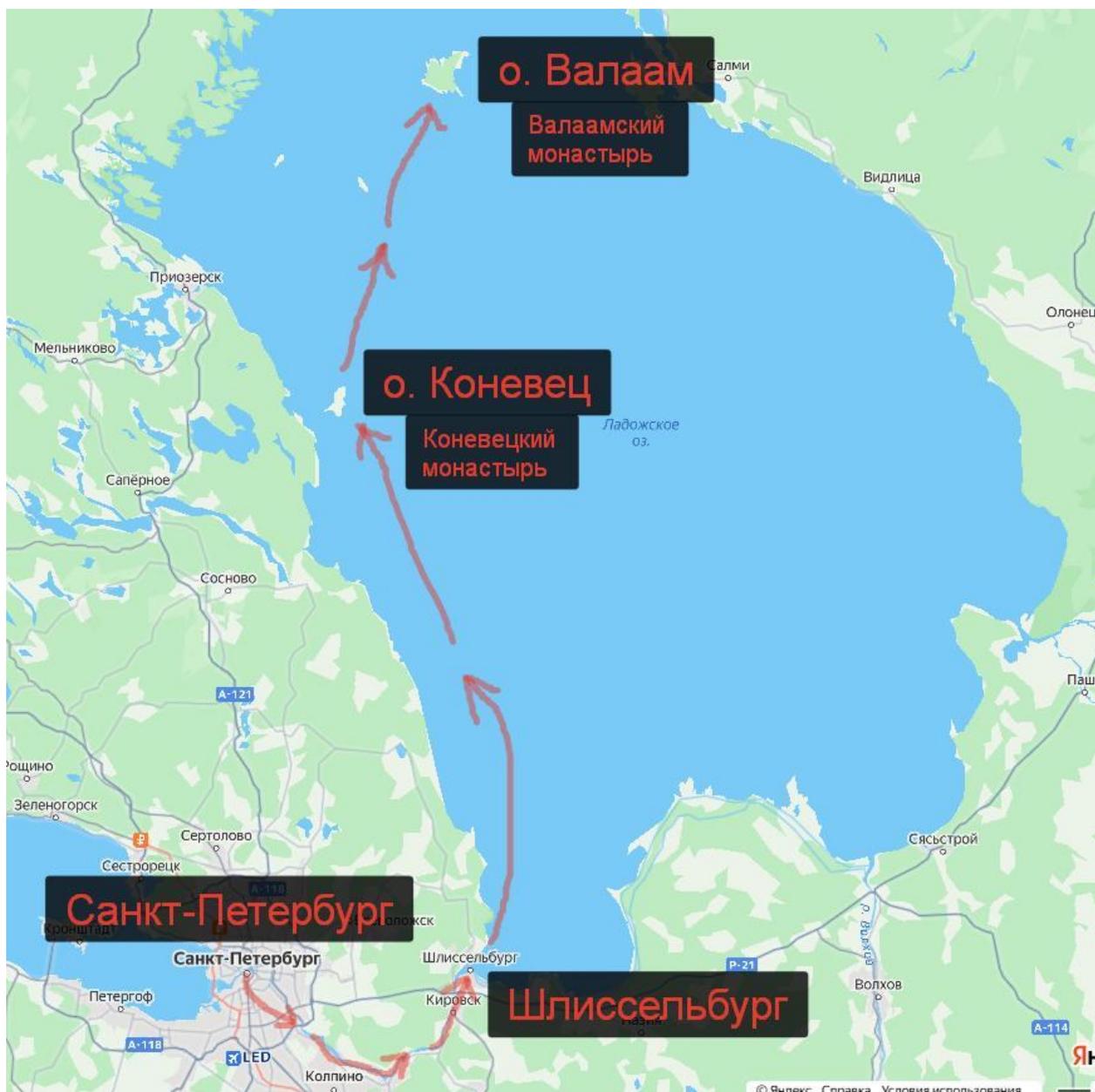
Далее, нам может показаться это даже вымыслом, но русские авторы XIX века с упорством используют непривычные нам меры длины и веса. И ладно бы ещё исконные сажени и аршины, но нет – маниакально часто встречаются дюймы и фунты. Всё это заставило меня снабдить текст сносками, которые я поначалу подписал как «примечание перепечатника», но потом отовсюду убрал это уточнение, поскольку они все оказались примечаниями именно перепечатника. По ходу работы оказалось, что комментировать нужно много ещё всего. Судите сами.

Уже на первой странице мне повстречались ланцепупы, ублиеты и пьомби. Спорю, что без словаря вы вряд ли объясните значение всех этих терминов. Проллистните к началу повести и узнаете, что всё это значит. Далее пришлось искать смысл выражений «поджечь фатеру» (квартиру), «подарить сиги» (это такие рыбы), «обыкновенный видик» (уменьшительное от «вид»). А ещё «пришлось» (в кавычках – потому что всё это было в радость) изучать стихиры Иоанна Дамаскина и настоятелей Коневского и Валаамского монастырей. И заодно разбираться в названиях местностей. И если в просторечном «Шлюшине» легко угадывался Шлиссельбург, то «Нево» пришлось искать – оказалось, это старое название Ладожского озера.

Так что за 100-150 лет русский язык изменился не только в орфографии и пунктуации, обновилась лексика: ушли старые слова, пришли новые. Отдельные слова трансформировались, а буквы – выпали из алфавита. Но всё же «ер» на конце слов не был уж так бесполезен. В славянском языке он указывал, что в определённом падеже мог приобретать звук. Как минимум дважды в «Поездке на Валаам» я столкнулся с предлогом «съ», который получает дополнительный звук в связке с дальнейшим существительным или прилагательным. В оригинальном тексте словосочетание «съ спокойнымъ» заведомо читается как «со спокойным», потому что «съ» в сочетании со словом, начинающимся на «с» огласовывается как «со». Мы сейчас так и говорим: «со спокойным выражением лица», а раньше звук «о» прятался в «ъ», в нужный момент превращая потенциальную энергию тишины в кинетическую – звука. То есть твёрдый знак как бы закладывает то, что он не пустой символ, а что-то всё-таки несёт.

Да и, в целом, публикуемая теперь «Поездка на Валаам» насыщает не только наш интерес к сакральному, но и нашу жажду вкусной и насыщенной речи. В своей повести Амфитеатров совмещает путевые заметки с описанием давно ушедшего, но «великого времени монастырской православной колонизации севера». И это не только верная характеристика произведения

в целом, но и штрих к портрету автора – талантливого писателя и мастера изящной словесности.



«Поездка на Валаам» на карте:

пароход «Александр» отплывает из столицы, Санкт-Петербурга – плывёт по Неве до устья – Шлиссельбург – выход на открытую воду Ладожского озера – на север к острову Коневец – и дальше на север к Валааму. Общее расстояние – около 250 км

До прощального гудка и отплытия парохода на Валаам вернёмся на минутку к замыслу «Перепечатника». У Хорхе Луис Борхеса есть интересный рассказ «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”». По сюжету некий малоизвестный писатель Пьер Менар пытается реконструировать некоторые недописанные главы романа Сервантеса, но на деле просто переписывает уже

существующий текст. И тем самым становится истинным автором «Дон Кихота». Ну что сказать – постмодернизм!

В процессе перепечатывания я иногда чувствовал себя таким Пьером Менаром, который не создаёт ничего нового, но просто переписывает старое. Но можно посмотреть на проблему иначе. Какое же это счастье – иметь возможность так медленно, как будто сам печатаешь, перечитывать классику, хорошенько её осмысливая и заодно «переводя» для читающей публики!

Так что читайте в своё удовольствие. И не только читайте – оставляйте предложения, что ещё перевести с русского «ерного» языка XIX века на современную речь. Я серьёзно: делайте заказы, и я выполню перепечатку бесплатно – по причине коммерческого слабоумия, но главное – в качестве немотивированного акта красоты.

Михаил Кожяев
январь – март 2026

А. В. Амфитеатров
Поездка на Валаам (1899)

I. Пароход «Александр»

– Десь ристань тёмна; пароход пойдёт – будет ветло, – утешительно напутствует финнка-горничная мой стремительный нырок – ибо нельзя же назвать подобного сальто-мортале входом! – в странное помещение, именуемое на валаамском «Александре» каютой I класса. Я, ощупью, валюсь на диванчик и не без смущения ожидаю, что вот сейчас точно так же нырнёт за мной носильщик и сбросит в эту тьму кромешную мой чемодан, а в нём будет пуда четыре с походом. Обстоятельства несколько напоминают игру в «кукушку», которой будто бы забавлялись некогда пресловутые владивостокские «ланцепупы»². К потолку, на длинной верёвке, прикрепляется пятифунтовая гиря³. Один из играющих раскачивает гирю, другие садятся по углам. Тушат огни. Кто-нибудь громко кричит: «Куку». Тогда раскачиватель толкает гирю по направлению голоса, а сам ложится на пол. Гиря, над его головой, летает по комнате саженными размахами⁴, – кто её схватит впотьмах и удержит, тот и выиграл...

– Но ведь этак она и в лоб может попасть! – возразил я штурману дальнего плавания, о том мне впервые рассказавшему.

Он с профессиональной гордостью ответил:

– И попадала-с!

– Ну, и значит – готов человек? на месте?

– Н-нет... Пьяные ведь играли... А у пьяного человека мозги, знаете, как-то упруге... Однако оно, конечно, того... ошарашивает!

– А случалось, что кто-нибудь ловил гирю?

– Помилуйте: многие даже зубами-с!

Не знаю, удалось ли бы мне – по правилам этого ланцепупского вранья – удержать мой чемодан в случае, если бы он в меня попал, но, к счастью, носильщик дюйма на два⁵ промахнулся.

Беспомощно водя руками, я чувствовал себя в ублиетке⁶ старых французских тюрем или в венецианских *piombi*⁷, описанных Жаком

² Ланцепупы – участники клуба кутил из русских переселенцев на Дальний Восток, который многие, по аналогии с североамериканским, называли «Русский Дикий Запад» (несмотря на его восточность). – *Здесь и далее все примечания – это примечания перепечатника.*

³ Пять фунтов – это чуть более 2 кг.

⁴ Сажень – 2,13 метра.

⁵ Два дюйма – это 5 сантиметров.

Казановой и Сильвио Пеллико. Рука всюду упирается в стенку или в потолок, а жара и духота ужасны до того, что я начинаю сомневаться: не посадила ли горничная меня, вместо каюты, во внутренность парового котла?

В потёмки доносятся звуки торжественного пения – красивые, мощные, стройные. Так как дело весьма похоже на то, что я сижу в аду, то предполагаю, что звуки несутся через стенку, по соседству, из рая, и принимаюсь искать туда лазейки... Выбрался! На крытой палубе служат напутственный молебен. Народу – видимо-невидимо; все – простецы, только уж ни в каком случае не серяки: день воскресный, и толпа нарядная, пёстрая, женщины рябят во все цвета радуги, особенно яркие и резкие сегодня под безоблачным небом и почти отвесными лучами палящего солнца. Когда мы отваливаем, пристань, нас сопровождающая, похожа на огород, усеянный цветущим маком. Машут платками, картузами...

– Домна-а-а Пантелеевна-а, без меня, слышь, не пе-е-е-ей! – гремит с носовой палубы чьё-то супружеское завещание.

И с пристани – визгливый ответ:

– Сам не пей, а я не напью-у-у-сь!..

Хожу, вернее сказать, толкаюсь по пароходу: публики едет столько, что стоят и сидят чуть не плечом к плечу. Почти все – прямо на Валаам.

– Всегда так много пассажиров ездит? – спрашиваю уже бывалого богомольца.

– В летнее время, особенно коли погода хорошая да праздники совпадут, – большое стечение бывает. Валаам без пятисот, шестисот гостей не живёт. А на Петра и Павла так и по несколько тысяч собирается.

– Следовательно, это финляндское общество Валаамского пароходства зарабатывает хорошие деньги?

– А как же? Вы примите во внимание: третьеклассного пассажира – орда! А он – по два целковых голова-с. Второй класс тоже всегда достаточен: купечество ездит, духовенство. Ну и первый с господами даёт свою покрышку... Вы каюту изволили взять?

– М-м-м... да, каюту, – подтверждаю я, с содроганием припоминая свой «паровой котёл».

– Стало быть, рейс-то влетел вам в пять с четвертаком... Нет, жаловаться нечего: большой процент имеют.

⁶ Ублиет (фр. oubliette) – подземная тюрьма в средневековых замках, «каменный мешок».

⁷ Пьомби (ит. piombi) – «Свинцовая тюрьма», одна из двух старых тюрем во Дворце дождей в Венеции.

– В таком случае, не грех бы им обзавестись пароходом получше. Ведь этот «Александр» – даже не самовар, а самоварная конфорка какая-то... Тесно, грязно.

Плывём... Боже мой! Как невозможно длинен Петербург, как утомительны его фабричные трубы, вытянутые, точно горла, подавившиеся куском, его деревянные и кирпичные барки! А красоты всё-таки много – конечно, для охотника искать её – и в этой «испакощенной» природе. Хороша Нева, вся сверкающая солнечными блёстками по голубой синеве, хороша краснорубашечная группа рабочих, ворочающих что-то на досках, под припев «дубинушки», хороши голые ребяташки – сотни их, жёлтых под солнцем, точно вохрой вымазанных – с криком и гиком прыгают с барок в могучую Неву... Купанье с барки! Это ли не сласть? Какая трапезия, какой трамплин заменит наслаждение кувырнуться в воду с выгнутого барочного пуза, карабкаться на руль, ежеминутно предупреждать товарищей и быть предупреждаемым:

– Ты, чёрт, не ныряй, а то под барку утянет.

И, при всём том, – нырять, нырять, нырять... Есть в этом какой-то «бессмертья залог» – на детский масштаб, конечно. Было что-то, не то, чтобы преступное, но как будто греховное и непозволительное, не то, чтобы запретное, но всё же не более, чем лишь с грехом пополам терпимое... По крайней мере, бывало, мы – хотя купаться нам никто не запрещал – бегали на барки тайком от старших, крадучись точно воры, и много было восторга именно в этой таинственности... О, детство! ау! где ты?

Vorbei sind Kinderspiele
Und alles rollt vorbei...⁸

На пароходе не весело. С кормы я ушёл, ибо на «интеллигенцию» и в Питере любоваться возможно, даже в преизбытке, – так если лицезреть её ещё на валаамском пароходе, то будет – по польскому выражению – «юж занадто». Впрочем, и интеллигенции-то, в буквальном смысле слова, полтора человека: юный и хорошенький студент-горняк с ещё более юною барышней, – влюблённые до остолбенения. Молчат, держатся за руки, смотрят друг другу в глаза и улыбаются глупо, но мило... Нирвана любви,

⁸ Закончились детские игры, // И детство наше прошло... – начальные строки стихотворения Генриха Гейне «Мой сын, мы тоже были детьми» (1827).

мало занимательная для посторонних, но которой сам не променяешь «ни на какие миллионы», как говорят институтки. О, юность! ау! где ты?

На демократическом «носу» – народ. Странные лица. То – красивые, строгие, сухие, полные какой-то особой выдержки, спокойной энергии, то – беспутные, опухлые рожи, с отпечатком порока, с блудливым взглядом исподлобья, глаза – и наглые, и сконфуженные... словно избранные агнцы и отверженные козлища. Середины нет. Прислушиваясь к разговорам, понимаю, в чём разгадка. Предо мною – везущие и везомые. Образцы русского характера и русской запойной бесхарактерности. Это – пьяниц, запутавшихся в Петербурге без надежды на вытрезвление, везут под монастырский начал, на Валаам, где ни водки, ни вина, ни пива, ни курева не достать ни за сто рублей.

– Везут, – и я довольно даже благодарен! – рассуждает один из злополучных, размахивая руками. – Что, в самом деле, за мода? Ну, выпей стакан, другой, тихо, благородно... А ведь я, милый мой господин мастер, закурил на шесть недель!

– Был буюемши? – хриплым басом возражает господин мастер – мужчина лет за сорок, с мрачными бровями и ещё мрачнейшим красно-сизым носом, висящим на усы.

– Страсть! – По участкам – ровно бы шар по бильярду – катался...

– А я тихой. Я, брат, как пью, запрюсь в камере одиночкой, сижу да молчу. Только от мысли – большое огорчение. Потому – не-христианское в голову лезет.

– Скажите!

– Фатеру поджечь – вот⁹, али самому зарезаться...

– Это он вас смущает.

– Известно, он: кому ж другому, как не ему, подлецу!? Ну, да теперь только бы до Валаама добраться, а там – ему повадки не дадут.

– Там строго! Это вы правильно! И от угодников благоволение, и от монашества суровость.

– Что? водки? – входит в азарт господин мастер, – как же! так для тебя и припасено! А не хочешь ли поговеть? Без масла вкушая, например?

– Опять же и труд – великая помощь, – вставляет кто-то. – Там отцы-монахи нашему брату шалберничать не дают. Говенье – говеньем, а ты и

⁹ В XIX – начале XX вв. «фатерой» широко называли съёмную квартиру.

поработай. Водят тебя по скитам, молитвою угобжают, кормят в трапезной за братским столом, а, промеж дела, – ну-ка, милый человек! вздень подрясничек на плечи, да вот тебе коса, либо грабли в руки... ступай в монастырские луга, поусердствуй обители...

– Главное, чтобы человек не скучал, праздности не имел, в мысли свои уйти не мог. Потому – как дела нет, так мысли, а как мысли, тут и бес запойный.

– Алкоголь это называется! – авторитетно поясняет пиджачник, с бледно-зелёным лицом...

– Да как ни называй – всё бес... Нешто упомнишь их, бесов-то, по именам? Все – от лукавого! Одного помёту!..

Жутко слышать этот самосознающий, самоосуждающий, гласный и откровенный, но бессильный справиться с собою порок. Здесь – не стесняются друг друга, все маски сняты, у всех одна беда, одинаковый интерес. Каждый, наоборот, спешит высказаться – в надежде, что кто-нибудь из его товарищей по несчастью, боромых тем же «бесом», поймёт его, разделит горе, а может быть, и даст хороший совет, как с «бесом» управляться, – «средствие», основанное на горьком опыте.

У трубы везомый чуть не в ноги кланяется везущему:

– Пётр Николаевич! Разреши единую... ну, одну только единственную... выпью – и до Шлеюзенбурга приставать не буду.

– Голубь мой, не проси, – не могу; нельзя тебе, голубь; вред тебе от того, – ласково и кротко отвечает рыжий мужичинишка, из артельщиков, опрятный и солидный.

– Ведь купил же ты, как мы на пароход шли, сороковку? Ведь купил?

– Ну, купил.

– Для кого купил? – сказывай!

– Знамое дело, для твоего продовольствия. Мы не потребляем.

– Чего ж ты в кармане-то её томишь? Видишь, у меня душа мрёт...

– Как пароход отходил, ты единую выпил?

– Ну, выпил.

– Теперича, стало быть, до Шлюшина терпи. Вредительно, голубь.

Богатырь говорит ласково, но ласковость эта – железная. Пациент его, с тоскою, бредёт на носовую палубу. Богатырь издали следит за ним глазами.

– Хорош у тебя товарищ-то! – говорят запойному. Он согласно кивает головой, разводит руками, лицо у него – восхищённо-изумлённое...

– И не говори! Такой человек, такой человек... Весь Питер исходи, не найти другого. Помилуйте! Место пропимши, задумал я теперича на Валаам. Должен я себе пределе положить или нет? Объясните обязательно!

– Что и говорить! кому предела не надо?

– Теперича Валаам – место свято, говеть там буду. Выходит мне, стало быть, православная необходимость – у всех друзей-товарищей, кого когда обидел, яже ведением и неведением, христианского прощения попросить. И думал я, братцы, всех своих друзей-сродственников и свойственников в один день обойти, а назавтра, с пароходом «Пётр», на Валаам проследовать. Но – что бы вы полагали? К кому ни приду – сей час монопольное напутствие, потому что народ мастеровой. И пили мы, братцы, семь дней и семь ночей, и всё я на каждое завтра на Валаам ехал. Тут вот Пётр Николаевич себя в благородстве и оказал. Пришёл, меня жалеючи, взял за руку: «Пойдём, говорит, Семён Иваныч!» – «Куда?» – «На Валаам!» – «Невозможно, потому что с кой не простимшись!» – «Нет уж, пусть кума тебя заглазно простит, а тепереча пойдём, а не то, с прощаньями твоими, ты синеньким огоньком загореться можешь!»... И сам, между прочим, всё меня тянет, а лапища у него, сами обозреть потрудитесь, – клещи кузнечные... Я что же? Я пошёл!.. Пожалуйста на пароход! – На «Петра»? – На «Александра». – Желаю, чтобы на «Петре»! – Ладно! Держи билет!

– Ах, как прекрасно! Вот как прекрасно, что вы так заботитесь о товарище, – вздыхают две мещанки-богомолки, умилённо глядя на богатыря.

Тот, потупив глаза, ковыряет палубу носком сапога и, сплюнув на бок в Неву, заявляет кратко:

– Наше дело артельное.

– Но только, как скоро ты в кармане сороковку держишь, а товарищу рюмку дать жалеешь, – меняет вдруг запойный свой дифирамбический тон, – то, Пётр Николаевич, выходишь ты уж не приятель мне, но подлец... Дай, а то умру.

Молчание – точно Пётр Николаевич на другой планете.

– Это вы напрасно так, – поддерживают запойного другие собраты по искусству, – от внезапного воздержания даже вред может произойти. Бросать надо по малости, обрывать, сохрани Бог...

– Дано ему по положению – будет!

– Вот и извольте говорить с таким статуем. Ему говорят: «вред», – а он: «будет!»... Дай, а то сейчас помирать лягу...

– В Шлюшине.

– Аль в тебе Бога нет?

– В Шлюшине.

Из толпы раздаётся коварный совет:

– Но почему же вы в буфет не отправитесь? Там вы завсегда можете получить своё удовольствие и воздержатъ вас никто не властен...

Запойный свирепеет.

– Не учит, окажи любезность! Не глупее тебя! Буфет! А если он, идол, у меня все деньги отобрал? Девять копеек было – на свечку угодникам, – и те в карман к себе спрятал...

– На свечку и пойдут, – хладнокровно отзывается богатырь.

– Пётр Николаевич! Человек ты или зверь?

– В Шлюшине.

Возвращаясь на корму, прохожу мимо богатыря. Глаза наши встречаются, и он почему-то, с внезапной откровенностью, извинительно говорит в мою сторону:

– Медники они. Хороший человек и мастер прекрасный. Жалко-с.

Спускаюсь в каюту. Финнка не солгала: теперь в ней более или менее «ветло». Адски хочется есть. Звоню. Является другая финнка. Объясняюсь по-русски – ни ползвукa; пробую по-немецки – ни четверти звука. Только ласково улыбается, показывая рот с двумя вырванными передними зубами, и повторяет, кивая головой:

– Ю! ю! ю!

– Карточку дайте, волк вас заешь!

– Ю! ю! ю!

– О, Господи! Даруй мне терпение!

– Ю! ю! ю!

К счастью, – явление №2: входит первая финнка. Эта, оказывается, тоже по-русски не говорит и мало понимает, а только притворяется знающей по-русски, умея сносно произносить несколько фраз; но – по крайней мере – хоть кухонные-то и пароходные слова зазубрила отчасти. Опять-таки – верх заботливости пароходного общества о публике, которая его кормит своими паломничествами: населить пароход прислугой, «подобной надписи надгробной на непонятном языке»¹⁰! С тех пор, как издаётся в свете словарь

¹⁰ Цитата из стихотворения А. Пушкина «Что в имени тебе моём» (1830).

Ефрона и Брокгауза¹¹, в России появилось много образованных, с рассрочкой, людей, – один всеобъемлюще образован до буквы «к», другой до буквы «р», смотря по тому, до какого полутома успели он получить словарь. Моя – сперва погубительница, а потом спасительница – финнка в русской речи своей напоминала этих господ. Она была прекрасно образована до слова «пиво» (включительно), но «сельтерская вода» уже ставила её в горестный тупик, вместо «содовой» она приносила мадеру, а на требование «клюквенного морса» сердито отмахивалась руками, как бы желая сказать:

– Если вам угодно издеваться над бедной финской девушкой, то помните, что у неё есть «пукки»¹² на поясе и свой собственный жених Ганс Пайканен в Вильманстранде...

Кормят пассажиров эти удивительные девы не то, чтобы скверно, ибо провизия свежая, но... глупо как-то. Есть старый анекдот о матросе, который убил грубостью своих гастрономических вкусов лакомку-грека. Матроса поймал какую-то изумительной прелести рыбу и несёт её через одесский рынок. Грек увидел кухонное диво, привязался к матросу с разговором, и пошло между ними словопрение.

Грек. Матрос, а матрос? Зачем у тебя эта рыба?

Матрос. Как зачем? Есть!

Грек (с глубочайшим презрением). Ты будешь её есть?

Матрос (с полнейшим убеждением). Я буду её есть.

Грек. Тогда скажи, как ты её приготовишь?

Матрос. А как там ещё готовить? Положу в котелок, сварю да съем.

Такого гастрономического кощунства чувствительный грек перенести не мог: он бросил на матроса взор негодования, прошептал: «Изверг естества!», упал и умер.

Над этим анекдотическим греком принято смеяться, но я – хотя и не очень лакомка – понял его на «Алекサンドре», где, под псевдонимом ухи, подаются огромнейшие куски великолепнейшей рыбы, которую, однако, невозможно есть, ибо сварена она первобытнейшим образом, по способу первого повара Адама, в весьма подозрительном котелке – судя по мутной жиже, заменяющей навар и далеко не благовонной. Словом, ничего от

¹¹ «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» издавался в Петербурге с 1890 по 1907 гг. Объём словарей составляет, в оригинальной маркировке, 86 полутомов (это важно для нижеследующего в «Поездке на Валаам» текста): 82 основных и 4 дополнительных.

¹² Вероятно, речь идёт о том, что в советской традиции стали называть «финский нож» («финка»). Пукки у финнов (в исконном звучании – пуукко) – это классический нож с прямым клинком длиной 8-10 см и удобной рукоятью.

неразумных дев не добьёшься, а чего добьёшься, то скверно. И лишь спиртные напитки подаются не только в исправности, но даже как бы с экстазом.

Движущаяся на аскетический Валаам толпа переживает на «Алексаднре» нечто вроде хмельного заговенья. Поэтому, когда мы минули Шлиссельбург и вступили в блещущее ровною белизной Ладожское озеро, – пароход был пьян вдребезги.

– Володя! – слышу умилённый, но заплетающийся лепет, – спо-о-оём концерт... составим хорчик... «Кая житейская сладость»¹³, например? {Замечательнейшая вещь! Я знал множество русских запойных пьяниц, которые, в болезни своей, жить не могли без этой «Житейской сладости»... Это словно бы гимн русского алкоголического гамлетизма! Всего любопытнее – случай, рассказанный в моих «Сибирских этюдах»: «Разливанное море»}.

Но незримый Володя отвечает на предложение столь неопределённым звуком, что каждому непредубеждённому слушателю становится совершенно ясно: «Кая» выйдет у него, весьма икая.

Ещё садясь на пароход, заметил я среди паломников священника – красоты замечательной: совсем золотоволосый Бальдер¹⁴. Сейчас – Бальдера хоть выжми, и куда девался его величавый вид, его степенная осанка?! Какой-то краснорожий Бахус или Фальстаф в подпитии¹⁵. Перезнакомился со всеми на пароходе – и уже принят как свой группой богомолк из плохонького купечества: что называется, в дамы не вышли, а из баб ушли. Богомолки флиртуют и скалят довольного гнусного вида зубы; батюшка, попав в редкую роль кавалера, тщится сыграть её с достоинством: сидит «по-

¹³ Богослужебная стихира преподобного Иоанна Дамаскина (VIII в.), читаемая перед погребением усопшего. По всей видимости, текст этого произведения исполняли как песню. Церковнославянский вариант начинается со слов: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна?». В русском переводе это означает: «Какая житейская радость не смешана с горем?». И далее: «Какая слава стоит на земле непоколебимо? Всё ничтожнее тени; всё обманчивее сновидений: одно мгновение – и смерть всё отнимает».

В монастырях стихиры «Кая житейская сладость» поются над монахом и схимонахом при выносе тела из келий в церковь и после отпевания на кладбище. Если же почивший был иеросхимонах (т.е. в священном сане), то поют канон «Помощник и покровитель». Этот нюанс позволил Ф.М. Достоевскому вложить в уста своего героя отца Ферапонта следующее замечание о будущем погребении иеросхимонаха отца Зосимы, смрадный дух тела которого вызвал ожесточённые споры в «Братьях Карамазовых»:

«Над ним заутра «Помощника и покровителя» станут петь – канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь «Кая житейская сладость» – стихирчик малый».

¹⁴ Бальдр, или Бальдер – бог весны и света в скандинавской мифологии, сын Одина. Бальдр – самый светлый из верховных богов германского пантеона, традиционно изображается золото-русым.

¹⁵ Бахус – бог вина в древнегреческой мифологии. Фальстаф – добродушный пьяница из произведений Уильяма Шекспира.

гусарски» – отставив левую ногу, уперев руку в бедро и напряжённо острит – точно бутром плотину замащивает... Разговор – судя по горячности одних и томности других дам – идёт о «чувствах». Гвалт – точно на ярмарке; ничего нельзя разобрать в женском визге, кроме батюшкиного хохота да грохочущих окриков:

– Диспутуете без требуемой основательности! Прошу доказать ваше мнение от логики.

– Я не равна с вами в учёности, но только я говорю от сердца.

– Сердце есть показатель субъективный, то есть самоличный, а я молю: докажите от логики!

– Что вы, батюшка, заладили? – вертляво вмешивается замечательно изношенное существо как бы ещё женского пола, заметно состоящее в этой компании на амплуа *ingénue comique*¹⁶, – логика, да логика! Мы, женщины, этих ваших слова понять не можем...

– Вот я с вас вашу противную шляпу сорву, да в воду брошу, – кокетничает другая *ingénue*, – это будет логика?

Батюшка дико смотрит на дуру и «медлительно отвечает»:

– Нет, это логика не будет... Логика – другое. А вот пива выпить следует!

Двое совершенно трезвых и приличных мастеровых толкуют о «местах». Нету «местов»: затишье.

– Выходит, переждать надо до осени, – тогда местам открытие будет.

– По монастырям переждать рассчитываете?

– Дело обычное. Вы рассудите: теперича я до Валаама два целковых заплатил, а жить там три недели...

– На монастырском, значит, иждивении?

– Да ведь они рады: не дармоедом к ним приду; кое – на сенокосе, кое – дрова рубить, кое – по своему ремеслу подмогу, – хлеба-то, следовательно, и окупятся. После того – назад в Петербург: опять два целковых, – ан, весь июль у меня четырёх целковых и вышел. Сами судите: возможно ли тем про довольствоваться в столице?

– Где уж! Это вы с резонном!

– А вы просто так – поговеть едете?

– И поговеть, а признаться вам сказать, главное – для здоровья посоветовали. Грудью страдаю: во вздохе заложение. А, сказывают, климат там об эту пору целительный...

¹⁶ Сценическое амплуа молодой девушки-простушки.

– Лучше не бывает! Истинно – благорастворение воздушных. Вот только при вашей болезни – как с работой? Справитесь ли, ежели потребуется?

– Работа – что! Не господа! Болезнь работе не помеха... Мне первое – чтобы передохнуть на чистом воздухе, – ну, чтобы и пища была достаточная.

– Господа на дачи ездят, либо на воды, а мы – по монастырям. Оно, пожалуй, и получше дачи-то выходит.

– Помилуйте! Какое же сравнение? Подобной дачи под Питером, либо даже по Финляндской дороге не укупить и за тысячу рублей... А тут – за четыре целковых – всё удовольствие... А что до работы... руки свои, не покупные, – руки не в счёт.

Ладога – полная, могучая, без одной отмели: уровень воды на два аршина выше обычного¹⁷ – каждую минуту меняет свои нежные цвета, отлив за отливом. Ленивые, лёгкие волны, разбегаясь от парохода, дробятся в мелкую чешуйчатую рябь – словно на тёмно-синей стали трепещут капельки пролитого масла. Время к закату, а жара не спадает.

– Вот это плаванье! – восторгаются бывалые люди, – ни качки, ни тумана. Другой раз едешь на Валаам – «море» всю душу из тебя вымотает, да и плывёшь-то – ровно в молоке: в двух аршинах ничего не видать. А этакой благодати, что сегодня Бог послал, и старики не запомнят...

Солнце утонуло за горизонтом красным шаром, ненадолго окровавив невысокие облака; тьма упала быстро и ещё быстрее рассеялась, перейдя в белую ночь... Под белым небом, по белому, как скатерть, озеру-мору тихую мухой ползёт наш сонный пароходик к Коневцу... Сон, тишина... Святое благоговение просится в душу...

– И говорит мне господин помощник участкового пристава, – доносится мерный и печальный голос от трубы, – «Бесполезный ты человек! Доколе мы от тебя, подлеца, страдать будем? Ведь городские подмётки оттоптали, тебя, изверга, в участок водемши»...

II. Коневец

Полночь.

Зелёный лес спит – не шелохнётся в мистическом сиянии белой ночи, прозрачной и бестуманной. Бойкий монастырский конёк мчит меня, в тархтящей пролётке, под сонными ветвями. Они брызжут свежей росой; бодрящим ветерком тянет в лицо.

¹⁷ Аршин – 71 см. Соответственно, два аршина – это 1,42 метра.

Возница – монастырский кучер, старый старик, с жидковолосым, точно вылинялым затылком и с курьёзною шишкой за ухом. Словоохотлив до болтливости и рассказывает о коневских достопримечательностях столько, что – одно из двух: либо он врёт, либо ошибается книжка о Коневском монастыре, купленная мной у врат обители. Но – так как книжку эту составлял знаменитый архимандрит Пимен¹⁸, человек строгой мысли и большого литературного таланта, – то, естественно, приходится верить письменному его свидетельству, а не устному преданию.

Пароход пришёл к Коневцу в половине двенадцатого, с опозданием часа на три. Судя по отзывам людей бывалых, если сложить часы опоздания «Александра» за все рейсы, им совершённые, то выйдет, что он плавает ещё в прошлом столетии, при императоре Павле Петровиче, и, только по недоразумению, не видишь в толпе пассажиров париков и гатчинских кос. В монастырской гостинице, куда я отправился было спать, бежав от духоты в каюте, оказалась духота вящая. Спрашиваю о гостинника, когда бывает заутреня и, следовательно, можно будет осмотреть монастырский собор. Скоро: в три часа. Стало быть; – не до сна.

– Уж лучше я пойду осматривать остров!

– Помилуйте! – любезно говорят монахи, – зачем же вам ходить – ноги трудить? Мы вам дадим лошадь, и вы в какие-нибудь полтора часа побываете во всех интересных местах Коневца.

Интересных мест этих, собственно говоря, не слишком много: знаменитый Конь-камень, Святая Гора с Казанским скитом и Святым колодцем, скит Коневской Божией Матери – вот и всё. Есть ещё какие-то Родушки или Радушки – мысок, как говорят, с прелестным видом на озеро, но туда оказалось невозможным пробраться вследствие высокой воды. Уровень Ладожского озера этим летом на два аршина выше обычного. Высокая вода стоит с мая и, по-видимому, не имеет ни малейшего намерения убывать. Парходам от этого – большое удовольствие, так как об отмелях и помину не стало: фарватер всюду. Но на островах половодье наделало много сюрпризов: здесь луг обратило в болото, там уничтожило береговую дорогу и отрезало сообщение между двумя частями острова, так как новой дороги проложить негде: старая шла под скалой, и, когда её замыло, отступить дальше стало некуда. Родушки я посмотрел уже на

¹⁸ Архимандрит Пимен (Гаврилов) (1828–1910), настоятель Коневского монастыря с 1884 г. Ему принадлежат книги «Валаамский монастырь и его подвижники» (1864) и «Рождественский Коневский монастырь» (1886), о которой в данном случае идёт речь.

обратном пути с Валаама. Хорошенькое местечко, куда пришлось пробираться по морю, яко посуху: вода – по брюхо лошади. Рыбачьи хижины между ракетами. Рыбаки, одичав в одиночестве, обрадовались свежему человеку, точно я с неба свалился, одарили меня двумя сига́ми¹⁹ и ни за что не хотели взять за них денег. Предлагали ещё маленькую щучку, рекомендуя её как превосходное средство против желтухи.

– Ты на щучку гляди, пока она не заснёт. А как щучка заснёт, станет она вся жёлтая, – это, стало быть, желтуха твоя к ней перешла.

– Всё это, братцы, хорошо, да желтухи-то у меня нет...

– Ну, приятеля али сродственника угостишь!..

На Святой Горе, кроме великолепного леса да удивительного бальзамического воздуха, нет ничего особенно привлекательного. Обыкновенный российский видик²⁰, который кажется красивее других, ему подобных, только потому, что, во-первых, приготовился смотреть его как достопримечательность, а во-вторых – если ночью все кошки серы, то на утренней заре все виды прелестны. Пред окнами петербургской квартиры высятся развалины перестраиваемого дома, а за ними обнажился огромный брандмауэр²¹. Трудно представить себе что-либо безобразнее этой кирпичной уродины; днём она – красная, как будто со стыда за себя, – можно сказать, взывает к человечеству: «Да застройте же меня поскорее во имя эстетики!».

Но – возвращаясь из типографии или с ужина рассветною порой – я часто наблюдал, что очертания и этой ненавистой дылды способны облагородиться, и на ней, как на гигантском экране, красиво меняются тона, посылаемые из-за дальних крыш ещё незримым солнцем. Так дивол ли, что, не быв на лоне природы целый год, отвыкнув от неё до «комнатной температуры», я был искренно счастлив дышать полной грудью, смотреть во все глаза и слушать обоими ушами на вершине лесистого холмика, носящего на Коневце громкое название Святой Горы? Сейчас – после скитания по величественным скалам, девственным чащам и могучим водам Валаама – и весь-то Коневец вспоминается мне как милая и симпатичная игрушка, которой полюбовался с удовольствием, но о которой несколько не жалеешь

¹⁹ Сиги – промысловые рыбы семейства лососёвых.

²⁰ Вид.

²¹ В XIX в. брандмауэром (нем. Brand – огонь, пожар и Mauer – стена) называли глухую, без окон, стену во всю высоту здания, специально сделанную так, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся в соответствующий дом. В XX в. этим термином стали обозначать встроенного в компьютер защитника, который не допускает несанкционированного доступа или взлома системы.

потом, когда её ласковое впечатление бледнеет и тонет в массе новых и истинно-грандиозных.

Святая Гора – родоначальница всей Коневской обители. Здесь в девяностых годах XIV века афонский монах, уроженец «Господина Великого Новгорода», Арсений, ныне чтимый православной церковью за святого и преподобного, поставил первый на острове крест и при нём создал отшельническую келью. На Коневец Арсений прибыл случайно – после долгих поисков удобного места для новой обители по Волхову, Ладожскому озеру и Городецкой реке, нынешней Вуоксе. То было великое время монастырской православной колонизации севера, которой сознательно или полусознательно посвящали себя лучшие умы, избранные натуры старой Руси. Валаам, откуда Арсений попал на Коневец, был таким же центральным узлом этой колонизации для севера, как Троицкая лавра – для средней полосы России, Киево-Печерская – для Малороссии и Черноморского побережья. В течение менее ста лет Валаам высылает на северные пустыри целую дружину культураносцев, людей замечательных по последствиям их деятельности для русского дела в инородческих делях. С Валаама – Савватий и Герман Соловецкие, Александр Свирский, Евфросин Синеозерский, Афанасий Сяндемский, Адриан Ондрусовский, Арсений Коневский: все – люди XV века, когда –

Русь собирали и скрепляли
И ковали броню ей
Всех чинов и званий люди...

Это было благородное соревнование миссионерства не кочевого, но оседлого, прочного, объявлявшего на веки своими места, где водружало оно крест; миссионерства – не только религиозного, но и политического, потому что Герман и Савватий, Александры и Арсении несли с собой в северный простор не одно христианство, именем которого освящали они свой подвиг, – они несли с собою Русь. Напрасно объяснять их соперничество в созидании всё новых и новых монастырей исключительно жаждой уединения, отшельническим духом, не терпящим общежития. Если действовала эта причина, как главная, то, для удовлетворения отшельнической потребности, и Савватию с Германом, и Александру Свирскому, и всем другим вполне хватило бы и по сие время одного Валаамского архипелага. Большинство островов последнего до сих пор пустоует от всякого жилья, да и на самом

Валааме можно выстроить ещё добрую дюжину приютов пустынножительства – без опасения, что отшельникам одного придётся часто встречаться с отшельниками другого. Между валаамскими старцами есть немало таких, что никогда не покидали своего острова, не бывали – через залив, в час расстояния – в скиту Предтечи, на Никоновых островах и т.д.

Пустыни для отшельничества человеку искать вряд ли надо; когда он возжаждет отшельничества, пустыня сама вокруг него образуется, и незачем удаляться за тридевять земель в тридесятое царство: приютом может явиться ближайшая скала, холм, роща, чему мы и имеем примеры, например, в Оптиной Пустыни, едва ли не наиболее чтимом теперь монастыре средней России. Да русский аскетизм совсем и не проповедовал бегства от людей и презрительной вражды к ним, которую дышат легенды Фиваиды. Взяв оттуда суровые формы, он наполнил их любвеобилием и участливостью. Русский отшельник – существо бесконечно строгое, беспощадно взыскательное к себе, но глубоко отзывчивое к горю, нуждам и потребностям ближнего. Между каким-нибудь Павлом Фивейским и хотя бы святым Сергием Радонежским, аскетом восточным и аскетом русским, – одинаково суровыми к своей собственной личности, непроходимая пропасть в остальном, внешнем мировоззрении, – и бесконечный перевес человечности, душевности, готовности понимать и прощать, разумеется, на стороне аскета русского.

Вот почему жажду подвижничества в пустыне можно считать в числе вторых причин монастырского расселения на Руси, но отнюдь не первой и исключительной. Главным побуждением монастырских строителей было, конечно, – двинуть православную Москву, православный Новгород, православный Нижний и т.д., в угодыя тёмного языческого инородчества.

– Вы русской веры? – спросил меня вчера седой иеромонах.

И если мы хорошенько подумаем над историей и бытом нашего народа, то, конечно, убедимся в глубокой осмысленности и правде этого названия. Наше старое православие – именно русская вера, общая с православием византийским лишь строго сохранёнными формами, но незаметно и даже, может быть, бессознательно исправившая его славянским здравым смыслом и мягким прекраснодушием. И не надменный и нетерпимый византизм Никонов, Филаретов и Победоносцевых несли пастве своей Стефаны Пермские, Саввати и Германь Соловецкие, Александры Свирские, но именно это умягчённое и внимание к греху мира русское православие, что настолько пришлось по плечу народу нашему, настолько сроднилось с

плотью и кровью его, что само, в общежитии, переименовалось в русскую веру.

После неудачных поисков по Ладожскому побережью Арсения бурей принесло к Коневцу, где он уже был раньше, но который сперва ему не понравился. Арсений принял это происшествие за указание свыше и остался вековать свой век на острове. Сперва он жил одиноко на горе. Через год, когда появились у него ученики, спустился на юго-западный берег Коневца и там – у Лахты, которая впоследствии получила название Владычной, в память посещения острова св. Евфимием, архиепископом Новгородским, – основал скит, быстро разросшийся в монастырь. В 1421 году наводнение вытеснило монахов из их обители, после четверть-векового уже в ней пребывания. Арсений пламенно молится, имеет видение и, вдохновлённый им, переносит монастырь с неудачно выбранной низменности на берег более возвышенный, где обитель и по сейчас находится. Отстроив монастырь заново, Арсений как бы совершил всё суждённое ему на земле, стал хиреть и 12-го июня 1444 года умер. Он был монахом 65 лет, из них – 51 год настоятелем основанной им Коневской обители.

В настоящее время темя Святой Горы венчает скит с церковью во имя Казанской Божьей Матери: невзрачный белый четырёхугольник, поставленный на краю невысокого, но довольно крутого обрыва. При дороге – крест и часовня.

– Это что? – спрашиваю возницу.

– Тут Камзольский погребён.

– Кто такой?!

– Купец Камзольский благодетель был... А ещё князь какой-то...

Заглянув в «описание» архимандрита Пимена, вижу, что купца Камзольского никакого не было, а был какой-то кексгольмский купец, действительно благотворивший обители. «Князь» же – Николай Иванович Манвелов – пожелал похорониться на Святой Горе, услышав от знаменитого коневского старца, духовника Израиля, предание, будто здесь, при дороге, было любимое место отдохновения преподобного Арсения. Часовня – память видения Божией Матери, бывшего в самом начале Коневского общежития. Арсений уехал на Афон и замешкался в путешествии. В отсутствие его у монахов вышли все съестные припасы, братия смутилась и едва не разбежалась из обители. Но Богородица явилась в сонном видении некоему старцу Иоакиму, пустынножителю, обещая скорое возвращение Арсения и конец оскудения. Действительно, игумен не замедлил прибыть и

привёз с собой множество припасов. С тех пор и самая гора получила название Святой.

Под обрывом разбит прекрасный фруктовый и цветочный сад, тянутся огороды. Я полюбопытствовал: сами ли монахи устроили всю эту прелесть и ходят за ней? Нет, держат на жаловании садовника-специалиста, прикомандировав к нему подмогу и в науку двух послушников. Сенокосы чудные, травы высокие, благоухающие, а возница плачется, что Бог дождей не даёт и весь клевер пропал.

Под светло-зелёными берёзами, стройными и душистыми, проезжаем к Святому колодцу. В кустах что-то шелестит, бродят какие-то тени... Призраки, что ли, блуждают, по полуночному времени? Ну, нет. Вон этот призрак что-то уж слишком по-земному обнял близстоящую тень за талию, а тень хохочет совсем не замогильным смехом. Что за народ?

– Гости, – поясняет возница. – Из Петербурга наехали.

– На нашем пароходе их не было...

– Они третьего дня с «Петром» приехали. Ну, гостят. У нас часто загашиваются. Иные всё лето околачиваются, словно на даче. Потому что у нас – просто! Куда проще, чем на Валааме. Там, чуть десять пробило, – гостиница на замок: ни входа, ни выхода. А у нас – двери настезь всю ночь: когда пришёл, когда ушёл – никому горя нет. Свобода! Молодёжи то и любо... Молельщики тоже!

Подвигаясь далее, мы вспугнули ещё две подобные пары, а на возвратном пути – уже в матовом свете расцветающего утра – встретили и влюблённых с «Петра»: «он», в значительной степени «раскисший», лежал у ног «ея», упершись затылком в берёзовый пень, а «она» шаловливо стегала «его» по лицу каким-то долговязым белым цветком. Я сделал вид, будто смотрю в другую сторону и люблюсь довольно уродливой кучей бурелома, но молодые люди, в остервенении взаимообожания, кажется, нас и не заметили.

Святой колодезь – родник, как все родники. Местные жители полагают чудесность его в том, что он – на горе, и, тем не менее, в нём вода есть.

– Где болото, – тыча пальцем под гору, восклицал возница, – а где колодезь, и, поди ж ты, – каплет!

Для человека, зревшего истоки Терека и ручьёв Бешеной Балки, правду сказать, редкость небольшая. Но у меня есть житейское правило: никогда не огорчать проводников недостатком восхищения к показуемым ими достопримечательностям, недоверием к их познаниям и поправками их

ошибок. Я держусь этого правила с тех пор, как в Ватикане постыдно довёл резонёрством своим одного отчаянно врущего гида до слёз от злости.

«Синьор, – сказал он мне тогда, – за что вы меня мучите? Я вижу, что вы хорошо знаете историю и искусство и совершенно во мне не нуждаетесь. Но, в таком случае, зачем вы меня брали? А так я не могу: вы сбиваете меня с порядка, у меня всё путается в голове, и я поневоле несу чушь, над которой вы, понятно, ещё более смеётесь... Ах, сеньор, поверьте: если б я знал историю, я не был бы гидом, но читал бы лекции в университете!..».

– Вези на Конь-Камень!

Конёк быстро нырнул в лесную чащу и вынырнул среди пространных, уже скошенных лугов, трепещущих от низового, еле ползущего тумана какими-то сизыми тенями. Утро хорошо. В кустах рассудительно, точно будя подругу – «вставать пора! вставать пора!» – чирикает пташка и другая отвечает ей капризными и жалобными нотами...

Конь-Камень, окружённый правильно распланированной и чисто содержимой рощей, громадина для валуна, но для скалы – камень среднего роста. Он кажется исполином на низменной косе Коневца, но на Валааме не был бы даже замечен. К тому же несколько лет назад от него отвалился огромный кусок, который оттащили через дорожку в кусты.

Некогда приходил от Коня-Камня в неистовый восторг профессор С.С. Куторга²². Может быть, в Конь-Камне и в самом деле есть что-нибудь восторгающее «по науке», но красоты в нём немного. Думаю, что профессор просто хотел быть любезным и угодить монахам, которые каменным чудовищем своим не нахвалятся. Но чудовище остаётся чудовищем. К тому же на нём построили весьма неуклюжую деревянную часовню. Очарование



Коня-Камня создаётся демонической репутацией, окружающей этот природный памятник седого язычества. Так характеризует его и самое житие преподобного Арсения: «Камень, паче бесовским ужасом, неже густым лесом, окружённый». Когда святой прибыл на Коневец, в Конь-Камне жил нечистый дух, и люди

страны сей, «идолобесием ослеплённые», приносили ему в жертву каждое

²² Степан Семёнович Куторга (1805 – 1861) – русский минералог, профессор Петербургского университета, путешественник, исследователь Петербургской губернии и Финляндии.

лето по одному коню, «дабы скот их храним был от пакости воздушных духов». Преподобный Арсений изгнал нечистого силой своей молитвы, и вместе с тем прекратилось, разумеется, «идолобесие»...

– Хорошо. Нечистого изгнали. Куда же он девался?

– А он обернулся стаей ворон и перелетел вон туда, на финский берег, в Чёртову Лахту... Оттого она и Чёртовой именуется!

– Там и остался?

– Там и остался.

– И по сейчас там живёт?

– Нет, теперь там живёт начальство.

– Какое начальство?

– А чиновники разные... из Выборга, Кексгольма...

Милое преемство: сперва вороньё, потом нечистая сила, потом чиновники, от которых даже нечистая сила сбежала!.. Нечего сказать: повезло злополучной Лахте!

Конь мой, конь! Бежит песок,
Чую ранний ветерок...

Возница мой, чую ранний ветерок, страшнейше зевал и, как потом оказалось, надул меня: не показал Змеиную гору, замечательную тем, что, начинаясь узким, похожим на змеиный хвост, пригорком, она, несколькими извилинами, возвышается к широкому обрыву. Гору эту я посетил на обратном пути с Валаама и ничего хорошего на ней не обрёл. Во время шведского разгрома, постигшего Коневец в XVII веке, здесь спасались какие-то отшельники. Проводники показывают сомнительные следы будто бы их келий. На одном бугре, над гнилым срубом и земляным валиком, высится крест, с надписью, вещающей, что здесь пустынножительствовал в конце XVII и в начале XVIII века инок Порфирий, родом из новгородских князей.

Зато кучер свёз меня к скиту во имя Казанской Божией Матери, к Владычной – или, по-местному жаргону, Лодыжной – Лахте, где стоял когда-то первый деревянный монастырь Арсениев. Дорога туда осталась в памяти моей лучшим впечатлением, какое подарил мне Коневец. И, возвратясь в монастырь, отпустив возницу, я всё утро затем проходил по этой очаровательной дороге, любясь Ладожским озером, её омывающим, слушая его спокойные, величественные всплески, мерно ударяющие о берег. Это не гневный прибой враждебных волн на враждебную землю, – это

просто сторожевой оклик водных духов... «Здесь мы! здесь мы! здесь мы! – внятно повторяет он, – слышишь ли ты наше величавое присутствие?».

Мягкая белизна неба и моря, мягкие излучины невысокого берега, мягкий сыпучий песок под ногами, мягкое пение ладожской волны, – весь остров мягкий, нежный, жизнерадостный. Здесь именно такому ласковому отшельнику жить и спастись, каким был знаменитый местный Израиль²³: «неисчерпаемый источник утешения и привета», – называет его архимандрит Пимен. Этот подвижник имел истинно всеобъемлющее широкое сердце, благословлявшее «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду»²⁴.

О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

Это как будто об Израиле написано. Он, как никто другой, умел поддержать колеблющегося праведника и утешить кающегося грешника. Он не давал человеку отчаяться в себе. Его Богом была всепрощающая любовь и вечная надежда. Все духовные дети, как монастырские, так и мирские, – а последних хватило бы, чтобы населить весьма порядочный губернский город: так широка была популярность Израиля! – искренне любили и уважали его. «В преизбытке любви» он всем давал своеобразные названия. Кого назовёт «царская жемчужина», кого – «сладкая ягодка», иного – «многострадальный», другого – «сладость церковная».

Та русская нежность для нежности, то стремление и озорника погладить по головке, и паршивую овцу приласкать, что так хорошо понимал Достоевский, великолепно написавший тип русского старца, хотя всё же его Зосима несколько приподнят сравнительно с Зосимами действительности, которых теперь насмотрелся я вживую на Валаамском монастыре и о которых, покойных, прочёл множество биографий. Они проще, деятельнее,

²³ Израиль (Андреев) (1793–1884), архимандрит, настоятель Коневского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы с 1859 г. О владыке Израиле из русских писателей высказывался не только Амфитеатров. Н.С. Лесков в 1872 г. посетил Коневец и заметил об отце Израиле: «В его ласковых, весёлых глазах действительно светится много особенной монашеской доброты, которую, как известно, к сожалению, очень немногие умеют уберечь до старости».

²⁴ Строки из стихотворения А.К. Толстого «Благословляю вас, леса» (1859) из поэмы «Иоанн Дамаскин».

яснее и ближе к толпе, ими чаруемой, чем Зосима Достоевского. Тот – всё-таки немножко как будто за стеклом, «не тронь меня», а эти – все в прибегающей к ним за помощью и советом жизни.

Есть между ними апостолы ласковых и кротких упований: не бойся, дескать, чадо! Христос всё видит, всё знает, всё понимает – и грех твой простит! Недаром Он кровь Свою за тебя пролил! Ступай, молись, да впредь не греши!.. Есть грозные пророки сурового и мучительного покаяния, у которых вечно и на уме, и на языке – геенна огненная, тьма кромешная, плач и скрежет зубовой, жестокий пост, вериги, самоистязание, сверхсильная молитва. Но безучастных нет. А если бывает такой, то – уже по свершении долгого, долгого подвига участия к нуждам чужой души, когда совершенно всё земное, и годы, и личное внутреннее самосознание старца требуют упорядочения его собственного духовного мира, говорят ему: замкнись в себе и не выходи, – ты уже не человек...

В истории Валаамского и Коневского подвижничества я нашёл, собственно говоря, только один вполне цельный образец подобного аскетического безучастия: это – валаамский монах-пустынный Афанасий, скончавшийся в 1852 году, 80 лет от рождения. В пустынную свою келью он не принимал никого, мало с кем говорил, и только по необходимости, и особенно удалялся от беседы с мирскими людьми, говоря:

– Я за них Богу ответа не дам, а за себя непременно истязан буду. Господь не спросит: почему ты других не спас?.. а – почему сам не спасся? Я пошёл в пустыню не для того, чтобы других назидать, но для того, чтобы в ней оплакивать мои грехи!

Выйти из келии – хотя бы за сбором топлива²⁵ – он почитал уже грехом. Как аскет совершенного восточного типа, он имел способность застывать по шести часов в так называемой «умной молитве» – упражнении, роднящем между собой аскетов не только всех христианских вероисповеданий, но и всех религий мира, возвысившихся до идеи духовного самосовершенствования, приближения человека к Божеству. Умную молитву знают и буддизм, и иудаизм, и магометанство. Упражнение это – столько же физическое, сколько нравственное, и необычайно трудно с той и другой стороны. При полной неподвижности тела надо мысленно всецело

²⁵ Топливо – то, чем можно топить, то есть дрова. К топливу в современном смысле (например, к бензину) это слово не имеет отношения. Интересно, что термин дожил в значении дров до конца XX в. В частности, святой Паисий Святогорец также использовал слово «топливо» для обозначения того, чем можно топить печь.

сосредоточиться на идее Божества и на молитве Ему. Это – молчаливый экстаз, совершенно извлекающий человека из окружающей обстановки; мира более не существует; дух витает где-то вне времени и пространства. Оторваться «умною молитвой» действительно на несколько минут – дело возможное для каждого верующего человека, особенно если он склонен к восторженности и обладает впечатлительными нервами. Но выдерживать себя по шести часов в сути в ничем не развлекаемом и не смущаемом экстазе – подвиг, пред которым робко отступали даже такие истязатели своей плоти, каким, например, был в годы своего послушания творец современного Валаама, великий игумен его Дамаскин – одно время товарищ Афанасия по пустыни.

Отрубленный от мира, погружённый в «умную молитву», Афанасий думал только о смерти и загробном расчёте за угасающую уже жизнь. А между тем родом этот угрюмый ум был из тульских оружейников – самого нищего, но самого весёлого и беспечного народа, между всеми ремесленниками России, отличенного наибольшим развитием способности ничуть не думать о завтрашнем дне. Один из монахов, побывав в Туле, стал рассказывать отцу Афанасию о нынешнем устройстве этого города, о новых зданиях, площадях, широких улицах.

– Брат, – мрачно остановил его пустынный, – скажи лучше мне, много ли понадобится досок для моего гроба и велик ли холм земли подыметса над моим прахом.

Но повторяю: Афанасии – как ни высоко ставит их монашество, зрящее в подвиге их приближение к идеалу древних пустынных отцов – всё же исключение, а не общее правило. Афанасиев ставят в образец, мечтают достигнуть их величественного бесстрастия, но живость славянского ума и мягкость славянского сердца редко кому даёт уйти на подобную степень отчуждения.

– Ах, уж этот мне грешный мир! Погибну я за общение с ним и внимание к его нуждам! – сокрушённо говорит русский подвижник и... в то же время всю жизнь проводит в заботах и хлопотах о горе и грехе именно этого губительного мира, искупая свою святую «вину» почти невероятным самоучительством и железным терпением во всякой житейской напасти. Любвеобильный Израиль, помянутый выше, всю жизнь тяжко болел ногами; в конце жизни они у него загнили до колен, почернели и высохли, «стали как железные». Страдания его были ужасны, но никто не слышал, чтобы он стонал или охал; «только, бывало, поморщится и всегда благодарил

Бога». Жалевшим о мучительности его недуга больной неизменно отвечал стихом апостола Павла:

– Недостойны страсти нынешнего века к хотящей славе явиться в нас²⁶.

Израиль умер 11-го марта 1856 года, прожив в Коневской обители пятьдесят лет. Кроткая душа его до сих пор как будто не отлетела от этих мест. Блуждая по мхам и розоватому граниту излучин Коневского скита, я ничуть не изумился бы, если бы вдруг раздвинулись бледные, девственные зелени подсосенного кустарника и ласково глянул бы из них седобородый, старческий облик, в клобуке, с умными, глубоко-проницательными очами.

– Полюбуйся, мол, полюбуйся, соколик, на Божью красу моего острова... Надо природу любить: она святая, в ней вечное Божество земле себя оказывает.

А кругом и впрямь – чем ярче разгоралось новорождённое утро, тем роскошнее развёртывалась святая краса. Старое Нево²⁷ – нежно-голубое, с белёсыми полосами вдали – у берега трепетало всё розовое. Жемчужный прибой не стучал больше прямиком о берег, но расстился по нём косыми, продольными волнами, словно ложился в постель и подушку себе примащивал, чтобы поудобнее улечься и послаще заснуть. Прямые высокие сосны, розовый гранит, скитская церковь, далёкие рыбацьи лодки в просторе озера – всё опрокинулось в воду отвесным и чистым отражением... Чиж весело запищал в кустарнике, хрюкнула какая-то зверюга, жалостно допеваает отходную минувшей ночи кусаки-комары, укладываясь спать под росистые листья, озабоченный дятел бегаёт по сосне, выбирая, где ему застучать носом... Вся природа – как перед смотром – будто напряглась, подтянулась и ждёт, в весёлом и нервном возбуждении, царственно грядущего в неё дня. И вспыхнуло солнце, – и не стало полутеней: мир утонул в золотом сиянии... И звонко, и радостно запели за рощей монастырские колокола.

III. Валаам

1.

Божья тишь...

День тихо меркнет в зареве безоблачного заката.

Свежий, с крепкой, весёлой зеленью, молодой кленок смотрит в открытое окно моей кельи. В половине июля на Валааме ещё весна: цветёт

²⁶ В русском переводе со славянского: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18).

²⁷ Нево – старое название Ладожского озера.

сирень, калина, жимолость, жасмин; только что сошёл с лесных полян ландыш, и, на смену ему, заблагоухала по низинам белая и стройная лесная фиалка-любка.

Аромат, тишь, безветрие и сон. Вечернее правило выслушано, монахи разошлись по своим кельям, сторож десять раз ударил в часовой колокол, и десять раз пропели аккордами, вторя ему, дремучие леса и зеркальные озёра. Монастырь и гостиница наглухо запирают свои двери. Ночь.

Вдыхаю полной грудью плывущий в окно влажный и тёмный воздух, и чем таинственнее сгущается мрак, чем глубже тишина вокруг, тем пытливей устремляются в ночь недремлющие очи, тем явственнее слышит сторожкое ухо какие-то надземные звуки, глухую гармонию сонной природы. Здесь столько слышишь церковных песнопений, ухо так свыкается с ними, что они то и дело просыпаются в музыкальной памяти бессознательно, начинают звучать в воображении – точно и в самом деле где-то ещё поют, ещё славословят. Гудит ли комариная стая, гулко встряхнёт ли верхушки дерев внезапно налетевший порыв ветра, – в стоне и лиственном шуме вдруг откликнется глухим и далёким напевом незримая всенощная, свершаемая природой после всенощной людской...

Путешественник по Востоку рассказывал мне недавно, что индийские брамины имеют обыкновение отделять в своих жилищах одну комнату, куда предписывается им входить не иначе, как если они чувствуют себя вполне в духе, в светлом и любвеобильном настроении. Комната эта убирается коврами и мебелью по вкусу хозяина, украшается его любимыми цветами, в ней курятся любимые его благовония. Войдя в этот храм своих симпатий, в этот уголок личного спокойствия и земного счастья, брамин остаётся в нём, покуда не почувствует в душе пресыщения и скуки. Тогда он спешит уйти: священная комната не должна оскверняться неприятными помыслами и настроениями. Брамин верит, что довольный и нравственно уравновешенный человек распространяет от себя флюиды довольства и нравственного равновесия и что они остаются в атмосфере помещения, где ему чувствовалось так хорошо, и, умножаясь, с каждым новым посещением, накапливаются в незримое море благосклонных токов, вечно струящихся и могуче воздействующих на человеческую природу. Когда подобное накопление свершится, брамин начинает посещать свою психическую лабораторию уже не в минуты радости, но, наоборот, когда ему не по себе, когда беда за плечами и нужно утешение. И комната, пропитанная ласковыми и кроткими флюидами, мало-помалу подчиняет себе огорчённую

душу, умиротворяет мятущееся сердце, снимает с человека безрассудный гнев, водворяет в права свои спокойную рассудительность, мудрый и снисходительный разум. Нечто вроде как бы нравственной кладовой, куда ходят за новым запасом доброго расположения духа, когда старый весь истрачен в чаду и зловонии житейской кухни²⁸.

Эта причудливая теория накопления благих флюидов невольно припомнилась мне, когда – в первый день пребывания на Валааме – я одиноко бродил по его садам и рощам. Здесь сказывается тысячелетие молитвы. Воздух напоён ею; она – дыхание этих оторванных от мира островов. Верующий вы или неверующий, она захватывает вас, заставляет мечтать и грезить. Глядя на воды прозрачные, на многосаженную глубину, с опрокинутым в них недвижимым отражением храмов и часовен, начинаешь понимать древнерусские предания о «церковищах», о святом граде Китеже, ушедшем от Батыя неистового в хрустальную глубь лесного озера. Стоишь где-нибудь на далёкой опушке, ладожская волна, переваливаясь через камни, ласково шепчет, лижет твои ноги, в береговых кустах мелодически перекликаются звонки коров, бродящих на вольном подножном корму, без пастуха и призора, взор тонет в широко развёрнутой дали голубого озера, мелкие острова, в щетине сосновых и еловых лесов, чуть дымятся вечерним туманом – точно дышат, заснув на волнах, гигантские киты... И тут-то – через леса, за семь, за десять вёрст – тихо внятный благовест. «Пустыня внемлет Богу». Седые клубы надводных паров свиваются в темнеющем просторе хоровами белых ангелов... «Пришедше на запад солнца, видевшe свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога!..»²⁹.

За истекший день я испытал много живых и новых впечатлений. С Коневца мы уехали отвратительно. Прощальное лаканье водки и пива началось с утра, и можно было лишь радоваться, что, натошак, пьяниц скоро развезло и большую часть – от хмеля и тихой тряски парохода – сморило крепким сном. Палуба спящая, усеянная обессиленными, безобразными, неприлично разбросавшимися телами, противна, но хоть молчалива. Медник, везомый богатырём Петром Николаевичем на Klosterkur³⁰,

²⁸ Примечание А.В. Амфитеатрова 1905 года: «Это – вроде того, как гегельянец Киреевский ходил к Иверской молиться не потому, что верил в чудотворность иконы, но потому, что – «место наплаканное»: незримый склад столетиями накопленной скорби, слёз и жалоб человеческих...». Имеется в виду мыслитель И.В. Киреевский (1806–1856). Ирония Амфитеатрова, по всей видимости, заключается в том, что Киреевский провозглашал себя славянофилом, ратовал за самобытность русской философии, в то время как считал систему Гегеля вершиной европейской рационалистической мысли.

²⁹ Часть песнопения «Свете тихий», исполняемого на вечерне.

³⁰ Дословно с немецкого – «монастырское лечение».

ухитрился как-то надуть своего проводника: кто его и когда угостил – Бог весть; сейчас он сидит на чужом узле, краснее свеклы и пьянее вина, и наглейшим образом дразнит своего покровителя:

– Вот – выпил, и что ты с меня возьмёшь? Пременить того тебе, друг любезный, не предвижу окончательной возможности.

Друг любезный смотрит на пьянчугу с сумрачной гадливостью. Он очень хорошо и сам понимает, что, раз человек напился, «пременять» тут уже нечего. Сконфужен и зол на себя, что не усмотрел он, – страшно. Нахмурился зверем и, на все наглости жалкого человека, только повторяет односложно:

– Ладно-с. Ужо-с. Увидим-с.

Проходим мимо низменного Тихвинского острова. Это – как бы первое предостережение пароходу: мы уже на валаамских водах, хотя до самого Валаама ещё двадцать пять вёрст. Вчерашний игривый батюшка стоит у барьера с мрачным видом человека, у которого дьявольски ломит голову с похмелья, и грызёт лимон. Спутницы богомолки пытаются вовлечь его в прежнее празднословие, но напрасно: батюшка вступил на стезю благоразумия и на соблазн порока даже ухом не ведёт. Тепло и светло. Вдруг, сразу, мы погружаемся в холод и какое-то матово-белое сияние, полупрозрачное, точно перед глазами опустили, в несколько слоёв кисеи, мягкий полог. Это – мы вплыли в полосу пресловутого ладожского тумана.

Таких странных туманов я нигде ещё не видал. Самого тумана не видишь, но, из-за него, не видишь и ничего другого дальше двух-трёх сажень расстояния. Сырости особой не чувствуешь, а уже успел продрогнуть до костей, и в жилы предательски пробирается лихорадка. Море – совершенно молочного цвета, с теми же бледными отливами перламутра, что играют, под солнцем, на кипящем молоке. Небо льёт прежний ясный свет, но само выцвело в тон моря; бледным и огромным в тумане призраком пронеслась над пароходом молчаливая чайка. Дикая, фантастическая белизна, сквозь которую – пыхтя, сердясь и посылая за собой чёрный, низко плывущий, придавленный сыростью к морю, дым – проходит «Александр», – гнетуще ложится на душу. Озябшие пассажиры приумолкли, прячутся по каютам. Мы – в какой-то таинственной зиме, внезапно ворвавшейся в знойное лето.

Стоя на корме, ослеплённый этим белым холодом, я начинаю живо понимать блистательную картину полярного тумана, начертанную Эдгаром По в заключительных строках «Путешествия Артура Гордона Пима»... Так и чудится: вот сейчас распахнётся белый занавес, скрывающий от нас, куда мы едем, где едем, откуда едем, и протянет к нам властные руки тот

мистический белый гигант, в чьих роковых объятиях исчезли некогда бедный Ним и Петерс, с их утлюю лодкой...

Занавес распахнулся. В прореху его хлынули солнечные лучи, голубое небо, весёлое, бодрящее тепло, а вместо белого гиганта мы увидели в версте-другой перед нами тёмно-зелёные боры на гордых обрывах Валаамских скал. Всё на пароходе ожило, засуетилось. Вздохи, крестное знамение...

– Господи Батюшко! – шелестят от носа до кормы старушечьи молитвы, – Царица Небесная!

«Козлища», разбуженные толчками товарищей, вырезвленные холодом только что пройденного тумана, – в заметном упадке духа. Напрасно улыбаются им быстро скользящие мимо острова своими позолоченными солнцем елями и румяным гранитом: они тупо смотрят на ждущую их обитель, и почти на всех этих искажённых и блудных лицах я читаю одну и ту же тоскливую мысль: «Тут, брат, ау! не разгуляешься!..».

– На манер узника Дрейфуса, – острит зеленолицый «пиджак», открывший вчера в адском воинстве нового беса – Алкоголя.

Спускаюсь вниз, укладываю свои вещи, прохожу затем, внутренностью парохода, через второй и третий классы, мимо машины, на носовую палубу. По пути слышу задушенные вопли и неистовое водное чупаханье. Гляжу... Нет, ей Богу, у Петра Николаевича есть характер! Шуйцею он склонил своего пациента под кран насоса, а десницею качает ему на голову ледяную воду³¹. Пациент, с дурного похмелья, кашляет, захлёбывается, трепыхается в руках мучителя, точно рыба на песке, – а тот, ничтоже сумняшеся, давит, знай, дарованными ему от природы клещами да качает ведро за ведром, приговаривая:

– Чистенькие приедете. И пред людьми опрятны, и Господу Богу милы.

Мне стало смешно, и я поспешил наверх. Мелькнули крест и маяк Никонова Мыса, откипели белые прибои Порфирьевского острова и Александрии, сверкнула сквозь сосны и ели, её переросшие, блестящие глаза церкви в Предтеченском скиту. Дико и чудно нарастают пред нами священные дива Валаама, – и вот, радостный, нарядный, чистенький, беленький, всплывает вдруг, высунувшись из-за тёмного, щетинистого мыса, скит св. Николая Чудотворца, сияя золотой маковкой. Он – точно каменный кораблик, оснащённый соснами вместо мачт, с фонарём маяка на носу, с

³¹ Шуйца, она же шуя, – левая рука. Десница – правая рука. В славянском языке не было родового слова для обозначения руки как таковой, вместо этого были конкретно левая и правая руки – шуя и десница.

величественным гранитным крестом на руле. В нём есть что-то плавучее; островок этот как будто стремится оторваться от общей массы тяжёлого, гранитного Валаама и помчаться, по воле ветра, в широкий озёрный простор. Никольский скит – страж старого Нево³² и вестник Валааму о его настроении. Когда на озере туман или заходит чёрная буря, колокол Никольского скита редким и протяжным благовестом оповещает о том валаамцев – совершенно так же, как петербуржцев при наводнении – пушка Петропавловской крепости.

«Александр» испускает жалобный свисток, делает крутой поворот и входит в Монастырскую бухту. Я немало скитался по белому свету, и видами удивить меня трудно. Но, когда сразу – в рамках природной иссера-розовой набережной, чёрный с обеих сторон отражениями вековых боров и хрустально-ясный в среднем течении – развёртывается перед глазами глубокий, в недра лесов бегущий, залив, с высоким белым монастырём, под голубыми крышами, на высокой зелёной горе, – у меня невольно дух захватило, и из груди вырвалось:

– А-а-ах!..

Могучий, царственный вид. Всё дышит здесь несокрушимой, неистоимой силой. И этот первозданный гранит, отвесно обрубленный в уровень к холодным пучинам; и эти тихие на вид, но с богатырским течением воды – восьмидесятисаженой³³ глубины у самого берега; и вековые сосны, что качают над ними свои мудрые, ещё шведа памятующие головы: каждую – хоть сейчас руби на мачту военного корабля. Весь Валаам – неприкосновенное лесное царство. Дерево идёт здесь на потребу человека и становится стяжанием топора, лишь когда свалит его ладожская буря или подточит внутренняя болезнь. Монахи свято хранят свои дебри. Лишь самая необходимая и спешная стройка заставляет их умертвить одного или двух из хвойных великанов, что сторожат неисчислимою ратью валаамские стены. Рубка дерева здесь – событие; о нём долго говорят потом, от него считают дни, как от календарной приметы. Дрова на обитель ещё очень недавно поставляли исключительно залётные с Нево ураганы. Когда эти стихийные дровосеки врываются в валаамские дубравы, в них начинаются ужасы. Вихри истребляют из леса всю древесную фальшь – всё крепкое, здоровое снаружи, но слабое и больное внутри. Деревьев с выгнившей, трухлявой сердцевиной много на Валааме. Духовный описатель и историк его говорит по этому

³² Нево – старое название Ладожского озера.

³³ 170 метров.

поводу весьма красиво и образно: «Едва во сто лет достигает на Валааме дерево естественной своей величины: преодолев в своей молодости тягости северной жизни, оно почти всегда заболевает сердцем, и в старости, а нередко и в зрелом возрасте сокрушает его сильная Ладожская буря»... В настоящее время – когда братия стала очень многолюдной, гостей перебивает в монастыре до 40000 душ и более в год, обитель завелась мастерскими, потребляющими массу дров, и раскидалась на множество скитов – валежника на топливо уже не хватает. Но монахи купили лесной участок на финляндском берегу и вырубает его на дрова, а своих дремучих дубрав всё-таки не трогают. Наезжающие в обитель для прогулок финны из Сердоболя и Кексгольма – что называется – зубами щёлкают от зависти.

– Нам бы эти острова! – говорят они, – Боже мой, что бы мы тут устроили, какую культуру развели. Ведь миллионы в одних лесах у вас растут.

Но монахи валаамские – не из тех столичных иноков, что гонятся за барышами и ради них готовы на любые компромиссы с «миром». Они твёрдо держатся исконного валаамского девиза: сам Бог, создавая далеко отрезанные от берега Ладожские острова, предназначала их для благочестивого пустынножительства во имя Своё. «Промыслом Спасителя мира назначен ты для селения иноков!» – вдохновенно характеризовал валаамский архипелаг Гавриил, архиепископ Новгородский, в грамоте 1787 года, введившей на Валааме устав Саровского пустынножительства. Верные девизу, монахи не только не уступают миру ни пяди своей земли, но, наоборот, стараются включить в пояс своих владений и всю финскую Ладогу.

Гениальный хозяин, игумен Дамаскин (ум. 1881) – маленький валаамский Пётр Великий – расширил монастырскую территорию покупкой пяти островов: Германова – по-фински Суска Солма, Сергиева – Путосари, Тихвинского – Вогнанного, Мигорки и Елая. Площадь этих «колоний» почти равняется самой «метрополии» – Валааму. Приобрести острова у частных владельцев Дамаскину, конечно, не стоило большого труда, но финляндские власти оказали энергичное противодействие переходу столь обширных и выгодных угодий в руки русского монастыря. Купчие не утверждались двенадцать лет, но Дамаскин и правая рука его – впоследствии тоже игумен – Ионафан добились своего; дело представлено было на Высочайшее усмотрение, и 28-го августа 1878 года Император Александр II указал – «означенным островам быть достоянием Валаамского монастыря в вечное владение». Как только монахи приобрели острова, так сейчас же завели на них и валаамский порядок: всё – лес, звери и птицы в лесу, воды и рыба в

водах – стало заповедным. В финское время Сергиев и Германов острова были гранитными пустырями, а сейчас – после тридцатитрёхлетнего монашеского хозяйства – они шумят бодрыми и частыми лесами. Да и сам Валаам – до последнего и уже окончательного водворения на нём монахов, после шведского разорения, при Петре Великом – очевидно, был грудой оголённых, неприветливых скал. Гравюра XVII века, с видом древнего деревянного монастыря, изображает Валаам безлесным, а строитель монастыря, о. Ефрем, – на запрос Санкт-Петербургской духовной консистории, почему валаамцы не пользуются своим лесом, а гонят брёвна и тёс из Олонца, с Сердобольского и Самшинского погостов – дал в 1763 году такой отзыв:

– Монастырский лес не употребляется ни в какое строение, разве на починку, по самой нужде выбиранием годных брёвен, понеже оных мало имеется.

Хитро и упрямо развивается валаамская растительность. Из 3100 десятин монастырского землевладения – разве пятая доля годна к обработке, – включая себя и лесоразведение, – с общехозяйственной точки зрения. Остальное – луда³⁴, сплошной тёмно-серый камень, либо поросший мхами, брусничником, мелким уродливым кустарником, либо вовсе голый. Луда, под влиянием ветров, рыхлеет на поверхности, рассыпается и мало-помалу превращается в землю – красноватого цвета и весьма мало плодородную. Но валаамские деревья и ей рады. Местной сосне, ели, берёзе только бы зацепиться где-нибудь корешком, а уж расти она будет.

Прямо глазам не веришь, наблюдая их плутоватое корнепускание. На Святом Острове, вблизи пещеры преп. Александра Свирского, над дорогой «висит» сосна, как будто прилипшая к огромной скале сплошного гранита. Снизу вы видите, как ствол сужается в корень, как бы исчезающий в скале. Но, обходя последнюю, убеждаетесь, что вовсе нет: дерево отвергло твёрдую и непитательную среду предложенной ей луды, круто перекинуло через неё корень трёхсаженным размахом, инстинктом нанюхало кусочек суглинка, впилось в него жадными щупальцами и сосёт-питается уже многие десятилетия.

– Видите, как округило! – восторгался монах, мой проводник. – Теперь они друг дружке помогают: дерево камню, а камень дереву. Камень

³⁴ На языке поморов луда – высокая каменная скала. Также лудой называют подводный или выступающий из воды камень.

защищает дерево от северного ветра, а дерево, связав камень корнем, не позволит ему распластаться и рассыпаться.

В Московском проливе я видел, впрочем, диво совсем обратного порядка: сосна расколола корнем гранитную скалу; корень – толстый, корявый – удавом ползёт под глыбой, прижавшей его, как пресс-папье в несколько десятков тысяч пудов. Гранит под ним, гранит над ним.

– Как могло это случиться?

– Очень просто. Наш гранит несокрушимо твёрд для заступа и молота, но мороз и вообще резкие климатические перемены производят в нём трещины. А уж если треснула глыба, то её – словно ножом – так сверху донизу и раскроит.

– Что блистательно доказано пьедесталом московского монумента Александру II... Далее?

– Трещина – может быть – вовсе в волосок, человеческий глаз её и не приметит, – ну а растение, коли Бог забросил семя на луду, чует, что под ним уже не цельный камень, а два камня, слышит сквозь трещинку влагу земляную и нащупывает, как бы к ней пробраться. Глядь – и пустило корешок в трещинку и добралось до земли тонкою-тонкою ниточкой.

– Это понятно, а вот – как же гранит его не задушил, а, напротив, сам раздвинулся, чтобы дать ему жить?

– Да ведь раз в камне жизнь завелась, он трухлявится, – стало быть, даёт корню простор ботеть³⁵. Ну а если корень укрепился да силу забрал, так он – богатырь, горячи ворочает: его же сожмёшь, он сам вокруг себя всё разопрёт...

На чём держатся две прелестные берёзки-двойняшки – украшение Крестовой горы на Чёрном Носу – растущие из каменного бока гигантского, точно человеческими руками обтёсанного обрыва; что не даёт рухнуть сосне-исполину, прилепленной именно уж между небом и землёй, над водами Никольского островка, – ты один, Господи, веси³⁶! Между тем, эта последняя сосна – древность валаамская. На самых давних изображениях монастыря уже кудрявится её широкая, итальянскую пинию напоминающая, голова. А место – как нарочно – самое подветренное и опасное на всём Валааме: при переходе из озера в Монастырскую бухту. Тут-то, казалось бы, и сломаться дереву при первой же буре, – а оно, знай, стоит да зеленеет всё краше и

³⁵ Т.е. полнеть, укрепляться.

³⁶ Т.е.: ты один, Господи, ведаешь! Вероятно, заимствование из молитвы преподобного Амвросия Оптинского о детях, которая начинается словами: «Господи, Ты Един вся веси».

краше. Видно – ловко обмануло враждебный гранит и хорошо ухватилось где-то в подземельной темноте за благодатную, подспудную почву.

Приход к валаамской пристани «Александра» совпадает с уходом от неё «Петра» – большого, красивого, хотя и устарелой конструкции парохода. Поэтому – с молебном выехав из Питера, мы молебном встречены и на Валааме. Толпа, шумя и толкая друг друга пожитками, повалила на берег – в гору, к огромному белому зданию гостиницы. Финляндская таможня на Валааме уничтожена – по ходатайству великого князя Владимира Александровича – в 1887 году, и остров, с примыкающими к нему монастырскими владениями, обращён в порто-франко³⁷. Теперь Финляндию представляют на острове лишь два полицейских, да и то один из них произведён в своё звание из монастырских же лесных объездчиков и, за двадцать два года житья на Валааме, обрусел. Он, вместе с монахами, встречает публику на пристани, монотонно повторяя:

– Папирос брось!

– Табак нельзя!

– Сигар оставьте!

Многих посетителей валаамское табакоборство приводит в уныние, отчаяние и довольное комическое негодование.

– Почему нельзя курить? Почему не позволяют иметь пиво, вино, водку?

Монахам на это «почему нельзя?» – собственно говоря – возможно ответить лишь одно:

– Да потому, что нельзя.

Держание в обители и её окрестностях хмельных напитков воспрещается восьмой главой общежительного устава Саровской пустыни, введённого на Валааме обновителем его, игуменом о. Назарием (род. 1735 – ум. 1809 г.). Соблюдается запрещение это строго – настолько, что пароходы, едва подходят к Валаамским берегам, запирают свои буфеты, и капитаны просят пассажиров более не курить.

– Позвольте, – возражают отчаянные курильщики, – эта глава обязательна братии монастырской, но не для нас, их гостей.

– Да они звали вас в гости-то?

– Н-нет, конечно... Я по собственному усердию и любопытству.

– Ну, а на собственное усердие и любопытство есть старинная пословица, что «в чужой монастырь со своим уставом не ходят».

³⁷ Порто-франко (от итал. porto franco – «свободный порт») – это порт, который пользуется правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. В общих словах – свободная гавань.

– Но если я не могу не курить?

– Не ездите на Валаам.

– Да если любопытно?

– Любопытствуйте без табаку!

– Бог знает, что! Это переносит нас в шестнадцатый, семнадцатый век, когда думали, что табак вырос из чрева блудницы и того ещё хуже, и резали за нюханье его носы. А мы переходим уже в двадцатый век, мы люди образованные, у нас непреодолимые потребности...

– Которые монашество, почти все без исключения, находит лишними и враждебными спасению человеческой души. Оно ушло от мира, живущего этими потребностями, и отвоевало себе уединённый уголок, где само живёт без них. Вторжение их в этот уголок оно считает осквернением его, оскорблением святыни, соблазнительным покусением на свою совесть. Мы сейчас – незваные, непрошенные, но радушно принимаемые гости в чужом доме. По какому праву будем мы – внезапные пришельцы – делать в чужом доме неприятные хозяевам выходки, издеваться над строем, обычаем и свычаем их семьи? Ведь не станете же вы на вечеринке в семейном доме занимать хозяйских дочерей, показывая им неприличные фотографии голландского или парижского производства, которые в холостых компаниях весьма употребительны. Ну а если так – зачем же возмущаетесь вы против требований монастырского приличия? Для валаамского инока, воспитанного Саровским уставом, зелье, выросшее из чрева блудницы, или снадобье, пущенное в мир на соблазн людской «первым винокурором» – сатаной, ничуть не менее грешный и отвратительный соблазн, чем для девушки из порядочного общества порнографический рисунок.

– Наконец, это им же самим невыгодно... Допусти они послабления для богомольцев, к ним стало бы ездить втрое больше публики, повалила бы интеллигенция. Сами себя лишают дохода!

– Это правда, но прочитайте всю историю Валаамского монастыря, и вы увидите, что иноки в эту глушь не для доходов заключились и о навале публики совсем не мечтают. В прошлом веке, когда на Валааме имелись ещё частные финские владения, на острове бывала ярмарка, дававшая монастырю большие барыши. Но вот что писал тогда же первый описатель Валаама, академик Озерецковский³⁸: «Паче всего похвальна трезвость монахов, которую наблюдают очень строго, и не впускают к себе на остров

³⁸ Н. Я. Озерецковский (1750–1827) – учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, член Российской академии наук с 1783 г. В 1812 г. путешествовал по Ладожскому озеру, о чём оставил научное исследование.

ни вина, ни водки, как только во время ярмарки, да и тогда не только сами напитков оных не употребляют, но ещё сожалеют о посторонних, коим вино нравится, ропщут на привозящих оное, на целовальников, и желают, чтоб лучше не было у них ярмарки, нежели чтоб во время оной привозилось горячее вино. Ибо хотя они совсем не пьют, но всё-таки боятся, чтоб когонибудь из них не соблазнил пример приезжих и не искусил дьявол». И, к концу игуменства в Валаамском монастыре о. Назария, иноки добились своего: ярмарка была взята у них и переведена в Сердоболь.

Я беседовал с некоторыми монахами по поводу суровости их «нравственной таможни».

– Видите ли, – получил я ответ, – в табаке, конечно, ничего особо преступного и грешного нет, но он – всё же слабость человеческая. А когда человек допускает в себе одну слабость, сейчас же в двери к нему начинает стучаться и другая. Допустим мы мирских до курения табаку, сейчас же и винцо появится. – «Можно, отцы?» – «Уставом-то воспрещено... Ну да уж Бог с вами! Пейте! Что с вас взять? Вы люди мирские!..» А за винцом, глядишь, и блудь, и всякая пакость. И станут люди в нашу благодать ездить – не Богу молиться, но гулять и бражничать. А мы того совсем не хотим: и святому месту – поругание, да с мирских и нам соблазн нехороший. Долго ли сбиться с пути? Только один шаг ступи с дороги, а там уж и пошёл вязнуть в трясине, пока не уйдёшь в неё с головою... Вот почему мы так строго и крепко держимся за наш устав, не допускаем ему ни малейшего пременения, и – кто к нам в гости – должен жить по-нашему, а не по-своему.

Словом, мораль Валаама: «Коготок увяз – всей птичке пропасть!». В суровой, подвижнической истории обители был короткий период нравственного шатания, – в тридцатых годах XIX столетия, при игумене Вениамине. В ряду настоятелей валаамских Вениамин был единственным чужаком: он был назначен, вопреки исконным правам Валаамской братии избирать игумена из своей среды, со стороны – из Коневского монастыря. Надо полагать, на железном Валааме, после Коневца, ему пришлось туго, и он принялся было «умягчать нравы», причём нарушил ряд старинных обычаев и порядков Валаама и даже уклонился было от Саровского устава. Ряд обвинений, выставленных монастырём против Вениамина, я читал в одной рукописной хронике. Проступки его – с нашей мирской точки зрения – были ничтожны: маленькие отступления в чине богослужения, к образцам других монастырей, – отступления, которых, кроме самих иноков, пожалуй, ни один и не заметил бы, – кроме, разве что, знаменитого ритуалиста того

времени Андрея Николаевича Муравьёва³⁹. В бытовом отношении Вениамину был поставлен в вину лишь один горький упрёк:

– Завёл баню по пятницам, чего и в столице нет.

Не улыбайтесь, люди, ежедневно купающиеся в ваннах, берущие души в патентованных шкапах! Баня – в быту русского народа – своего рода обряд, и к ней, как к обряду, и относятся: он должен совершаться своевременно – по установленным дням и в установленном порядке. Соблуди эту своевременность один замечательный русский исторический человек, быть может, всё течение времени в нашем отечестве, за последние триста лет, имело бы совсем иное направление.

Все князи-бояре к обедне идут,
Вор Гришка-Расстрижка в мыльню пошёл;
Все князи-бояре от обедни пошли,
Вор Гришка-Расстрижка из мыльни идёт –

только и врезалось в память народной песни из всех вин Лже-Дмитрия I, и, стало быть, сильно поразила негодованием мыльня эта толпу, если запомнилась ей на три столетия...

Итак, повторяю: проступки Вениамина мирскому глазу представляются совершенно незначительными. Но коготок увяз, и птичка стала пропадать. Монастырский строй начал быстро разлагаться и извне, и внутри: поколебалось послушание, упала нравственность. Валаамская обитель быстрыми шагами шла в разряд тех «шикарных» монастырей, где монахи ходят в бархатных рясах, опрыскиваются французскими духами и получают из кружечного сбора по 300-400 рублей в месяц⁴⁰. Но за Валаамом зорко следил благочинный его – известный проповедник, умнейший, высоко образованный, истинно религиозный архимандрит о. Игнатий Брянчанинов. По его представлению, Вениамин, после пятилетнего игуменства, был убран на покой, за неспособностью, а на место его – взятый из пустынной кельи – посажен был на игуменское место простой, валаамский же монах, Дамаскин, – умница из умниц. Железная рука Дамаскина круто повернула Валаам в русло строго пустынножительства и не покидала руля сорок два года: с 30

³⁹ А. Н. Муравьёв (1806–1874) – русский духовный писатель, путешественник, историк Церкви и исследователь православной литургики. Ему, в частности, принадлежат «Письма о богослужении Восточной Кафолической Церкви» (1836).

⁴⁰ По состоянию на февраль 2026 г., при цене за грамм золота 12,2 тыс. руб., онлайн-конвертер царских рублей времён Александра III на современные деньги выдал результат: 300 руб. = 4,238 млн руб.

января 1839 года по 23 января 1881 года. Всё, что есть хорошего на Валааме, помимо дивной его природы, сделано Дамаскином. Преемникам его пришлось лишь доделывать и развивать начатое, достраивать недостроенное, совершенствовать и украшать.

2.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

– Аминь.

Аминь на Валааме, как и во всех русских монастырях, кроме обычного своего значения, переводится ещё на обиходный русский язык словом:

– Войдите.

Молитва Иисусова и ответный аминь – монастырские пароль и лозунг у каждой запертой или затворённой двери. Хозяин открывает её не раньше, чем посетитель прочитает молитву Иисусову, посетитель входит не раньше, чем услышит от хозяина пригласительный аминь. С человеком, не желающим соблюсти такого этикета, иной строгий в уставе инок, пожалуй, и говорить не станет. И не только по обиде, что гость не хочет почтить монашеского правила, но и... по осторожности. Раз имя Иисуса не звучит из ваших уст, – Бог знает, кто вы такой? Тот ли вы, за кого кажетесь? Может быть, вы не произносите священных слов не по нехотению или забывчивости, но потому, что не можете, не в силах произнести их?

Не могу сейчас припомнить, о ком именно из подвижников валаамских рассказывали мне такое приключение. Подвижник вёл отшельническую жизнь в лесной келье, вёрст за пять от монастыря. Случилось что-то важное. Игумен отправляет келейника передать подвижнику о происшествии и просит его совет. Келейник идёт, стучит в дверь кельи, входит, застаёт старца на «умной молитве», кланяется и передаёт поручение. Старец – как статуя; молчит и хоть бы шелохнулся. Келейник повторяет свои слова раз, другой, – та же мёртвая неподвижность: ни ответа, ни даже шороха, старик будто застыл и только бесстрастно смотрит на келейника в упор, как на пустое место. Келейнику стало страшно. Он вышел и побежал обратно в монастырь – рассказать, что с пустынником творится что-то недоброе. И, лишь подходя к обители, он догадался, что, впопыхах спешного поручения, забыл произнести священный валаамский пароль. Возвратясь обратно, исполняет обряд с точностью и принят старцем с распростёртыми объятиями.

– Отчего, батюшка, вы не отозвались мне в первый мой приход? – с досадой пеняет он старцу.

– Да как же, сыне, ты без молитвы влез? Я и подумал: а вдруг ты – дьявол?

– Помилуйте, батюшка! Неужто вы меня в лицо не узнали? Да и как дьявол может монахом прикинуться?

– Э, сыне! Не знаешь ты его, окаянного. По первому началу, как я заключился в пустыни, нечистые ко мне чуть не каждый вечер ходили – и всё в образе монахов: навестить будто бы из монастыря, – либо гостей приезжих: пришли, мол, подивиться вашему подвижничеству. Ну и соблазн: празднословие, гордость духовная... мысли дурные... По малом времени и понял я: а ведь это мне от дьявола! Это ко мне призраки, а не живые люди ходят. И порешил тако: отвечать только тем, кто приходит ко мне с молитвой Иисусовой, а пред остальными молчать: кто их разберёт? люди они или черти? Дьяволу не то, что монахом, а и святее того скинуться не в труд... Вон преподобного Исаакия, угодника киевского, бесы в образе ангелов Христовых обольстили!

– Так-то оно так, – только вот, батюшка, мне, по осторожности вашей, приходится отломать пешком вместо десяти вёрст целых двадцать.

– Ничего, сыне! У тебя ноги молодые; на то и монах, чтобы труд принимать!..

Эту экспертизу: дьявол вы или нет? – живя в монастыре, приходится испытывать с утра до вечера. А в три часа ночи по бесконечным коридорам гостиницы мчится сломя голову, как весёлый жеребёнок, мальчишка «будильщик» и, трезвоня огромным колокольчиком, выпевает во всё своё молодое горло опять-таки ту же проверочную молитву. Это – сигнал вставать к заутрене и начало монастырского дня.

Дальнейшая, неизменно в годах обращающаяся, программа его такова. Встав в 3 часа, инок слушает заутреню, а в половине пятого раннюю обедню. В 6 часов разрешается чай. В половине девятого служится поздняя обедня. В 10 часов утра – обеденная трапеза. В 3 часа дня – чай. В половине седьмого – вечерня. В восемь – ужин в трапезной. В девять – вечернее правило, в десять – сон опять до трёх часов утра. И, при вступлении монастырских суток в каждую из этих фаз, «будильщики» мечутся мимо дверей ваших, самозабвенно заливаясь и звонкими голосами, и звонкими колокольчиками.

Валаамская гостиница – солидное белое здание пятидесятих годов. Выстроил её, конечно, Дамаскин. В ней 200 комнат; при четырёх койках на комнату, а по нужде и более, она способна вместить до 1000 – 1200 богомольцев. Тем не менее, уже оказывается тесной, и настоящий игумен

валаамский, о. Гавриил, должен был поднять над двумя этажами Дамаскиновой гостиницы новый третий. Приход парохода вызывает в гостинице невообразимую суету. Известно, что из всего «женского сословия» на земном шаре русская баба отличается нарочитой способностью в одно мгновение ока покрыть всё видимое пространство сундуками, узлами и подушками. Известно также, что счёта своим сундукам, узлам и подушкам она никогда не знает, и – все ли они целы, растеряла ли она половину по дороге – баба всё равно воет на голос, в твёрдом убеждении a priori, что её в пути ограбили и обмошенничали. Ибо, строго говоря, – только истинно-христианское милосердие может удержать от искушения ограбить и обмошенничать странствующую русскую бабу; а на пароходах и железных дорогах – истинно-христианское милосердие товар редкий; там больше соблюдается «одиннадцатая заповедь»: не зевай...

Когда сытый монастырский конь поднял меня с пристани на монастырскую гору, к гостинице, вход в последнюю был заграждён чемодано-сундучно-подушечным бастионом до непроходимости. Из-за бастиона раздавались вопли и визги, точно из крепости, только что взятой отрядом амазонок. Это богомолки требуют у монахов помещения. Монахи стоят в светлых и широких пролётах огромной, в два марша, лестницы, над которой красуется большой образ Богоматери, и с холодным спокойствием привычки отражают бабий прибой. На послушание в гостинице, конечно, ставят людей посмышлённей и пообходительней. Рассовать наезжих по четверо в номер не трудно, но задача осложняется «дружбой, родством и свойством». Каждому и каждой хочется устроиться вместе со своими, и все отнекиваются попасть в чужую компанию. К тому же монастырь не допускает сожителства мужчин и женщин в одной келье – так что на срок гостеванья на Валааме все браки временно расторгаются de facto. Супруги не общаются ни в ложе, ни в трапезе: женская столовая, на 500 душ, помещается тут же в гостинице, а мужчины должны питаться в «братской» – ходить в самый монастырь.

«Братская трапеза» – великая школа против той эгоистической, преувеличенной брезгливости, которою мы, люди культурные и избалованные, в значительной степени отравляем себе жизнь. Не думайте, по слову «брезгливость», чтобы трапеза представляла собой что-либо неряшливое, противное. Напротив: длинная зала, с иконостасом в глубине, под низеньким потолком, блещет чистотой. Полы, красные скамьи, столы, вытянутые двойным покоем или старинной буквой «Т», старательно

вымыты; нигде ни соринки, ни пятнышка. Скользнёт в маленькое окошечко, по глубокому косому подоконнику, солнечный луч, и весело заиграют на столах огромные жестяные енды⁴¹, с привесными к ним ковшами, налитые острым монастырским квасом. На каждых четырёх сотрапезников полагается одна такая енда и один ковш. Затем вся остальная посуда состоит из одной глиняной или деревянной чашки и деревянной же ложки на человека. Скатертей нет. Если понадобится салфетка, надо выдвинуть ящик в столе: там лежат продолговатые кусочки холста, правду сказать, мало соблазнительные к употреблению.

Когда вы входите в трапезную, вы видите: в ожидании начала обеда, и монахи, и миряне чинно сидят спинами к столам, лицами друг к другу. Усестья за стол, показав тыл сидящим за другим столом, прежде чем очередной иеромонах благословит «яства и питие», – неприличие, в которое то и дело впадают миряне... увы, от них же первых был я.

Миряне сидят за отдельными от монашества столом, хотя служащие послушники часто к ним подсаживаются, не имея другого места. При входе в братскую трапезник седой, но бодрый монах опрашивает гостей: будут они говеть или нет? Если нет, сажает за общий стол; если да, отделяет в особую группу, которая получает тот же постный обед, что и все, но без масла. С нашей мирской точки зрения, на Валааме все дни постные: не говоря уже о мясе, даже яиц никогда не употребляется в пищу. Но четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – разрешаются молочные продукты, впрочем, в самом ограниченном количестве. По крайней мере, служка в гостинице, весёлый и бодрый малый из солдат, принося мне в сказанные дни молочную порцию, всегда имел вид таинственный, точно он удачно провёз некую контрабанду. Графин с молоком он извлекал из бездонных карманов своего подрясника – скорее, бурого, чем чёрного, – и, хвостовски щёлкнув по посудине, точно она была не с простым молоком, но с нектаром олимпийским, подмигивал мне и восклицал:

– Двойная порция!.. Скуп у нас на скотном «хозяин» на молоко, – ох, скуп!

⁴¹ Енда – известный со времён Древней Руси настольный сосуд для разлива мёда, хмельных напитков и кваса. В сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок» звучит фраза: «Постучали ендовой – выпили». Из енды содержимое (в монастыре, разумеется, безалкогольное) разливали по более мелким ёмкостям.

Эти молочные благодеяния он оказывал мне, как и все услуги, совершенно бескорыстно. Когда я хотел, перед отъездом, дать ему денег, – служка руками замахал:

– Как можно?! Воспрещается!

Действительно, в каждой гостиничной келье на стенке висит таблица правил, обязательных для валаамского богомольца, и статья вторая правил этих гласит: «Не оказывать никому здесь частных благодеяний, а добротное своё приношение полагать в общую кружку на пользу св. обители, так как, по правилам общежития, никто из живущих в монастыре не имеет права приобретать отдельной собственности». Подобные предостережения имеются и в других монастырях, но во многих они – мёртвая буква, формальная бумажонка, без нужды забытая на стене. Валаам же блюдёт обет нестяжания по правде. За всё своё пребывание там я не видал ни разу, чтобы монах или послушник приняли от богомольца деньги или подарок – без игуменского благословения; не видал я и того ухаживания за богатыми и щедрыми гостями, каким так обычно и так печально профанируются столичные и подстоличные лавры. Монахи здешние как бы говорят посетителю:

«Кто ты такой, нам решительно всё равно. Ты к нам пришёл, а не мы к тебе. Следовательно, живи здесь, сколько хочешь, но соответственно нам. Вот тебе – на общем положении, келья, трапеза. Святыня – пред тобою. Живи, питайся, молись – и нам не мешай, как мы тебе не мешаем. Мы здесь заняты своим делом. Мы сами по себе, а ты сам по себе».

Есть монастыри, где – что ни шаг, то часовня «с достопримечательностью», а у часовни дежурит монашек, на обязанности которого лежит – не пропустить богомольца, не ознакомив его со «святынею» и не получив за то мзды. Русский человек на святыню даёт охотно, и на богомолье, было бы востребование, а пятаки из мужицкого кошель, рубли из обывательского бумажника летят невозбранительно.

– Как сквозь строй прошли! – даже хвастался, помню, едучи со мною из Сергиева Посада, средней руки купец и хлопал по колену сильно отощавшим портфелем.

Ничего подобного такому «сквозь строй» нет на Валааме, хотя если бы местные иноки захотели эксплуатировать свои достопримечательности, то могли бы извлекать доход на каждой квадратной сажени монастырских владений. Дамаскин покрыл острова сетью скитов и часовен. Но в иные скиты даже и не проникнешь без особого дозволения. В большой скит Всех

Святых женщины допускаются лишь один раз в году, на праздник Всех Святых, в первое воскресенье после Троицына дня; в Предтеченский скит они не имеют доступа вовсе, и не только в скиту, но и на острове, где он возвышается, не бывала женская нога. Мужчины же посещают «Предтечу» лишь с особого благословения, даваемого игуменом в редких случаях и со строгим разбором.

Часовни, кресты и памятники Валаама тоже бездоходны. Сразу видишь, что ставили их для души, а не для кармана. Прежде всего, часовни эти, затерянные в хвойной глуши, никогда не запираются и никем не охраняются. Идешь лесной тропинкой, переступая через пёстрые, обомшенные валуны и гигантские стволы поверженных сосен и елей, – вдруг где-нибудь на повороте мелькнёт крохотное зданьице, увенчанное крестом, и так и манит тебя: зайди и – коли хочешь молиться, помолись, а не хочешь, отдохни на ступеньках, слушай величавый гул леса и дальний плеск озера, воздушный звон насекомых, пение малиновки и пронзительный визг ястребов в небесных кругах. Игумен Дамаскин, несмотря на своё мужицкое происхождение и отсутствие образования, обладал редким художественным вкусом. Покойный пейзажист И. И. Шишкин, долго гостивший на Валааме, рассказывал об этом замечательном монахе:

– Соберёмся, бывало, мы, художники, на отъезде из монастыря – Дамаскин сейчас же к нам в гости: показывайте, господа, что написали за лето! Смотрит, хвалит, порицает. И – как раз похвалит именно те этюды, которые действительно удались. Критиковал как художник, не как публика. А то поведёт с собою в лес: вы вот что нарисуйте! вот этот вид, эту скалу, это дерево, это озерко... Смотришь: действительно, красота поразительная! где только глаза были, что раньше не написал?

Редкую художественность вкуса Дамаскин обнаружил и в размещении по Валааму священных памятников. Он занял ими, положительно, самые прекрасные, чарующие взор и охватывающие душу высоты Валаама. Ширококрылое поэтическое воображение надо было иметь, чтобы так метко и величаво увенчать гигантскими крестами мрачные обрывы Никонова мыса, Чёрного Носа, Глухого Озера, Предтеченского скита; стоишь на этих обрывах, любишь видом и думаешь:

– А дай-ка я отойду влево и вон туда вправо. Быть может, оттуда ещё красивее...

Ходишь, выбираешь разные точки зрения, – нет! всё хуже. Красивее всего открывается местность всегда и везде именно оттуда, где водружён

«Дамаскинов крест». И недаром богомolec, как придёт или приплывёт к такому кресту, так и сидит у подножия его часами – в немом созерцании развёрнутой пред ним красоты. Вечная природа – пред очами, вечный символ любви в природе – над головою.

Иногда в лесной часовенке застанешь читающего монаха. Если вы сами не заговорите с ним, он не обратит на вас внимания, не повернёт к вам головы. Это – монах на прогулке. Между ними немало страстных любителей природы, натур художественных, экстатических. Гулять по лесу без толку монахам не полагается. «Ещё прошу вас, отцы святые и братии, – гласит одно поучение Дамаскиново, – без благословения в лес с богомольцами не ходить, по пустыням и скитам их не водить, – соблазн быть может и что другое в худую сторону может быть толковано, так и св. Исаак Свирский говорит: монах соблазливый не узрит свет». Да и сам устав валаамский, четырнадцатой главой своей, воспрещает монахам лесные скитания. Но с тех пор, как лес усеян часовнями, любители природы могут проводить в нём часы своего досуга без опасения впасть в ослушание устава. В каждой часовне имеется незапираемый ящик, и в нём псалтирь и требник. Вместо того, чтобы свершать своё келейное правило в стенах монастыря, монах-любитель природы идёт в лесную часовню. Прочитает здесь, что полагается, и идёт к следующей часовне, версты за две, за три, здесь почитает, на возвратном пути опять приостановится на первом, так сказать, молитвенном этапе...

– Хорошо! – говорят эти энтузиасты, – лес кругом шумит, солнышко сквозь хвою светит, на устах Божьи слова, в уме Божьи мысли. Часовенка кипарисовая, благоуханная. А тут и могилка рядом чья-нибудь подвижническая... Николая-схимника, Серафима, либо отца Антипы... Памяти-то какие! Пример-то какой! Как же душе не играть и не возноситься в горние?

Один из энтузиастов – о. Пётр – сочинил, в благоговейных прогулках своих, длинное стихотворение: «О, дивный остров Валаам!»⁴². Простодушное и не особенно стройное по форме, оно дышит страстной привязанностью к воспеваемому острову, не лишено вдохновения и действует на читателя, настраивая его на настоящий валаамский лад, в аккорд со спокойным величием этого святого севера. И монахам, и богомольцам стихотворение пришлось по сердцу. «О, дивный остров Валаам!» – сейчас нечто вроде

⁴² «Гимн Валаамской обители» монаха Петра (Михайлова) действительно длинен: стихотворение включает 44 четверостишия.

местного национального гимна. На паромовых перевозках паломнические толпы к отдалённым святыням Валаама, певчие – после установленных на случай подобных плаваний молитв – обязательно поют гимн о. Петра. Напев простой, медлительный, спокойно светлый.

Итак, обет нестяжания исполняется Валаамом ещё по древней правоте. В монастырской хронике я нашёл несколько любопытных и ярких тому примеров. Не обращаясь к глубокой старине, возьму кое-какие образцы из времён Дамаскина (ум. 1881) и Ионафана (ум. 1891). Во-первых – однородные, до точного повторения, эпически простые и величавые завещания обоим игуменам: «Живя среди вас, по закону общежития, я не стяжал никакой собственности; поэтому не стесняйтесь составлением описи, исканием наследников и хранением оставшихся в келии моих вещей; но немедленно, по кончине моей, возвратите по хозяйствам». То есть – передайте в те отделы монастырского управления, откуда какая вещь выдана была игумену, как бы в пожизненное пользование: иконы, облачение – в ризницу, книги – в библиотеку и т.д. Здесь ни у кого нет ничего своего. Дамаскин, в годы своего послушания, был под началом у старца Евфимия, строгого аскета. Как последний отучал учеников своих от соблазна собственности, – типично покажет следующий эпизод.

– Что это у тебя за икона в келье? – спрашивает Евфимий Дамаскина.

– Родительское благословение...

– Она у тебя лишняя. Отдай её в церковь.

Дамаскин – тогда ещё послушник Дамиан – даже словом не возразил против сурового требования и, подавив боль сердечную, немедленно расстался с иконою – родительским благословением и последним воспоминанием мирской, вне-валаамской жизни. Ионафан, в бытность свою послушником, был строго наказан своим старцем, о. Памвой, и Дамаскином, уже игуменом, только за то, что осмелился принять в подарок от постороннего монаха просфору.

– Принимая от кого что-либо, мы, естественно, испытываем желание отплатить подарок и, таким образом, мало-помалу, сами того не замечая, сойдём с прямого пути и пойдём против правил устава общежития. Мы не за мзду должны трудиться, а лишь ради Бога, и не вводить друг друга в соблазн. Знай, что за просфору ты продал свою совесть. Снеси же её обратно тому, от кого взял, и вперёд будь осторожнее.

Дамаскина – в пустыньке его, за шесть вёрст от монастыря – посетили богомольцы, выпросили у него деревянных ложек, деланием которых он

убивал скуку зимнего досуга, предлагали ему денег, он не взял. По уходе гостей Дамаскин заметил между книгами подброшенную кем-то из посетителей пятирублёвую бумажку. Огорчённый, смущённый, расстроенный, он тотчас же запер свою келью и зашагал, за шесть вёрст, в монастырскую гостиницу, здесь разыскал своих недавних гостей и – к крайне неловкому изумлению их – положил пред ними на стол злосчастную бумажку.

– Нехорошо, господа, так искушать монахов! – сказал он.

– Но, батюшка, мы от чистого сердца, по усердию...

– Какое в деньгах усердие? Нехорошо!

И, поспешно выйдя из кельи, отправился обратно в пустынь. Таков же остался Дамаскин и на игуменстве.

– Батюшка, – говорит ему один из послушников, – позвольте мне съездить в Петербург – за получкою долга.

– Какого долга?

– Да порядочного: в полтора ста рублей. Получу их и сейчас же назад приеду.

– А зачем они тебе, полтора ста рублей-то?

– Я хотел бы отдать их монастырю.

Дамаскин отказал решительно.

– Вот что, брат, – сказал он. – Если бы ты обещал привезти в обитель не только полтора ста, но полтора ста тысяча рублей, и то я не советую тебе ехать. Душа твоя, которую ты повезёшь в мир, дороже денег, а, Бог весть, оттуда воротишься ли? Оставайся-ка, брат, здесь; пусть пропадают деньги, да душа твоя цела будет.

Что Валаам не слишком заботится о милостивцах и милостыне в свою пользу, лучше всего доказывает нищета его ризницы. Здесь нет и помина об изумрудных и бриллиантовых оплечьях, окладах, грудях золотых цепей, ведёрках с окатым жемчугом, которым дивятся паломники в Троице-Сергиевой или Киево-Печерской лавре. Почти нет и древностей. Что Валаам не богат последними, не удивительно: ведь монастырь неоднократно разорялся финнами и шведами, которые вырезывали монахов почти поголовно и не оставляли в обители камня на камне. Самые мощи пр. Сергия и Германа, с 11-го сентября 1180 года скрыты – от возможности повторения шведских неистовств – в глубокой-глубокой гранитной могиле. Священная могила находится под соборною церковью монастыря. Насколько точно определяется её положение надземная рака святых – сказать трудно. В

рукописном жизнеописании о. Дамаскина я нашёл намёк, что отнюдь не всем, по крайней мере инокам, известно подлинное местонахождение гробницы Сергия и Германа. По смерти Дамаскина один из монахов видит себя во сне – среди церкви, восхищенным до райского восторга. Он не может понять, почему ему так хорошо, и предполагает:

– Уж не здесь ли именно место, где погребены святые Сергий и Герман, которое мы ищем?

Да иначе и быть не могло, что тайна сохранилась лишь между некоторыми. Если бы хорошо была известна точка, спустив откуда щуп, можно добраться до мощей, то, конечно, шведы и финны уничтожили бы святыню в наезд свой XVII века, когда они, ещё недавние протестанты, пылали иконоборческим фанатизмом. Между иноками было много мучеников за родную обитель, но мог найтись и предатель. Вот почему секрет мощей должен был переходить лишь из немногих уст в немногие уста, как бывает во всякой гонимой церкви.

Шведы захватили Валаам в 1611 году, и покушения их добить разрушенную уже святыню осквернением гробницы её основателей не прекращались в течение целого столетия. В 1696 году архимандрит Макарий бил челом царям Иоанну и Петру Алексеевичам о разрешении перенести прах святых Сергия и Германа в управляемый ими Тихвинский монастырь – именно во избежание продолжающихся поруганий. Ходатайство удовлетворено не было. Почему – неизвестно. Быть может, по причинам дипломатическим; быть может, именно ввиду трудности предложенного Макарием предприятия; быть может, наконец, потому, что не теряли на Руси надежды рано или поздно восстановить монастырь, как надёжнейшую крепость русского начала. Восстановить же на Валааме монастырь, после того, как унесена будет исконная и коренная основа его, знаменитые на всю Россию мощи, представлялось невозможным ни патриарху, ни царскому совету.

Однако есть предание, что, когда возобновитель Валаамского общежития, игумен Назарий, созидал соборный монастырский храм, то, при рытье рвов для фундамента, священные гробницы обнажились: был видим склеп, а в нём широкая могильная плита. О. Назарий поспешил заделать отверстие в склепе и запретил братии даже говорить о нечаянном открытии. Вторая, уже преднамеренная, попытка проникнуть к священным телам случилась будто бы при игумене Ионафане, в конце двадцатых годов истекающего столетия. Он, с некоторыми из братьев, попытался извлечь

мощи из их вековой усыпальницы и, в ночное время, разобрал каменный свод над могилой. Но, когда монахи приступили к надгробной плите, то – по преданию – вся могила внезапно наполнилась огнём. Ионафан с товарищами, охваченные паникой, в ужасе бежали. Следы свода, разобранный ими при этой ночной работе, были видимы в соборном подземелье ещё при Дамаскине, – он убрал с таинственной плиты набросанные Ионафаном камни и засыпал её белым песком. Трудившиеся над этим делом рабочие сказывали потом, что плита находится действительно как раз под тем самым местом, где в соборе стоит серебряная рака.

3.

Не громкий, но ясный удар в гонг. Вся трапезная встаёт на ноги, словно от электрического толчка, – как один человек. Хор монахов поёт молитву...

– Благослови!

Трапеза благословлена. Короткий шум, шарканье ног... Служки – совершенная стая чёрных муравьёв – чинно, но быстрым шагом бегут в поварню и, возвращаясь, такими же быстрыми движениями бросают на столы миски с едой, тоже по одной на каждого из четырёх человек. Монастырский обед имеет четыре перемены: холодное, щи, кулеш и кашу. Холодное – это ботвинья, квасная похлёбка с овощами, или просто то удивительное кушанье, о котором поётся в русской песне:

Дадут капусты мне с водою,
И ем, аж за ушми трещит!

Монастырский этикет требует, чтобы холодное гости хлебали из общей миски, а не разливали по своим тарелкам. Кто не исполнит этого, тому, волей-неволей, придётся есть из той же чашки и два следующие супа, что, разумеется, не ахти как вкусно. В первый раз я, конечно, проштрафился против этого обычая и был наказан страшной безвкусицей, которую пришлось потом глотать, а во второй... уж очень сосед мой здоровенный парень, у которого под спинжаком рубашка была, как сажа бела, усердно и аппетитно облизывал свою ложку после каждого погружения её в общую миску. Ну, вижу, – человеку нравится... пусть уж его один ест, а я потерплю! Кашу тоже едят сообща, но почему-то это меньше смущает, хотя смакованье

и облизыванье ложек кругом идёт ещё вящее⁴³. А, впрочем, всё проходит в этом мире – преходящи и дурное чувство брезгливости, и баловство вкуса. После первого монастырского ужина, к тому же в постный день, я встал голодный, потому что всё казалось мне не по нутру, ко всему прикоснулся только ради приличия, чтобы не возбудить косых взглядов в соседях: – это, мол, что ещё на неженка? Коли ты хочешь барствовать, так в Питере сиди, по французским ресторанам ходи, а тут тебе разносолов не приготовлено!.. Но затем, – как встанешь утром в четвёртом часу, да, проглотив в шесть стакан-другой простого чаю, не имеешь во рту крохи хлеба до десяти, а между тем отломаешь по лесу вёрст пять-семь, да приличие требует, чтобы ты показался хоть на четверть часа за которою-нибудь из двух обеден, – так даже начинаешь мечтать:

– А не дурно бы теперь сидеть в трапезе и хлебать горячий кулеш с солёной рыбкой или щи со сметками, – ничуть не обращая внимания на своего соседа: кто он, как одет, как он сопит носом, и есть ли у него сыпь на лице...

Впоследствии, «с благословения о. игумена», я обедал и ужинал у себя в келье, но не по брезгливости; я уже акклиматизировался и – как некогда в пешем путешествии своём через Кавказ – привык к мысли, что нож и вилка не более, как предрассудок, и что грязные пальцы соседа, опущенную в общую сольницу, ничуть соли не портят и аппетиту обедающих не вредят. Меня просто избавили от потери времени – идти из гостиницы в монастырь, ждать, пока соберутся вся братия и гости, слушать сравнительно долгое молитвословие и т. д.

Когда привыкнешь к монастырскому столу, он совсем не дурен. Даже удивительно, как иноческая кухня ухитряется разнообразить свои меню при ничтожных средствах, оставленных в её распоряжении суровыми ограничениями устава. Но, с непривычки, людям набалованным, конечно, приходится туго. Перед самым отъездом с Валаама судьба послала мне оригинальную встречу. Только что пришёл пароход «Пётр», в гостинице обычная суета и, как выражался покойный Лесков, «толпучка». Вдруг слышу:

– Александр Валентинович!

⁴³ Вящий – устаревшее прилагательное из церковно-славянского языка со значением «лучший», «наибольший».

Гляжу и глазам не верю: предо мною Ф. А. З-ъ – так сказать, король петербургской гастрономии⁴⁴. Появление его в этом отшельническом царстве, где люди не живут, чтобы есть, но лишь кое-как едят, чтобы жить, было столь необыкновенно, что я невольно расхохотался.

– Уж не «искушение» ли вы? Быть может, если прочитать молитву Иисусову, так вы сейчас прахом и рассыплетесь?

– Какое там искушение! Просто приехал с семьёй полюбопытствовать, что за Валаам такой. Говорят – красиво.

– Красивее не бывает. Ну, а есть-то что же вы будете?

На лице короля гастрономии заиграли грустные тени.

– Да знаете ли... А, впрочем, хлеб чёрный у них очень хорош...

Я с чувством пожал этому доброму и вежливому человеку руку и воскликнул:

– Фёдор Андреевич! Вы оптимист.

Однако, при всём оптимизме, мои туристы валаамского режима не выдержали – и сбежали с первым же случайным пароходом в Финляндию.

Как уже говорено было, монашеская трапеза допускает рыбу и коровье масло только четыре раза в неделю, причём рыба эта – снеток и вываренные до тестоподобия кусочки солёной лососины. Остальное время братия питается овощами с постным маслом, а в Великий, Успенский и Рождественский посты – без масла, кроме немногих праздничных дней. В скитах Всех Святых, Иоанна Предтечи, Коневской Божией Матери, Святого Острова скоромного масла никогда не вкушают, а в три постные недели не едят и растительного. Ещё очень недавно предтеченским отшельникам воспрещён были и чай, – и лишь архиепископ Антоний, впоследствии митрополит петербургский, разрешил им этот напиток.

– Истинное это нам благодаяние, – говорил мне «хозяин» предтеченский, о. Назарий. – Из старцев, которые здесь спасаются, иные не пользуются разрешением, отвергают его, считая за новшество. Но нам, находящимся у Предтечи на послушании, чай – единое спасение. Пища растительная без масла... Как тут без чаю обойтись? Особенно зимою, как ударят морозы да с севера ветры потянут...

⁴⁴ Вот она – непредсказуемая уловка буквы «ер» на конце: в загадке фамилии З-ъ нам недоступна последняя (в современном написании) буква, которая бы подсказала, о ком идёт речь. Впрочем, по характеристике «король петербургской гастрономии» поисковик сразу выдаёт встреченного автором «Поездки на Валаам» гостя – это гордость Петербургской кулинарной школы Фёдор Андреевич Зеест (1855 – 1945).

Чай, вообще, не очень давнее явление на Валааме. Он проник в монастырь лишь в конце двадцатых годов, при игумене Иннокентии. До тех пор – как рассказывает в рукописной автобиографии своей о. Дамаскин – «в большие праздники, после обеда, в три часа, варили в котле шалфей с красным мёдом, и этот сбитень все пили в трапезе из деревянных чашек; каждому брату давали две таких чашки: одна заменяла стакан, а другая блюдце». И в настоящее время многие иноки уклоняются от чая, заменяя его набором сушёных трав. Но в общей массе монахи – не только усердные, но, можно даже сказать, экстатические чаепийцы. Чай – непреодолимая потребность их иструдившегося тела, требующего для поддержания сил своих хотя бы слабого возбуждательного средства. Чаи в монастыре употребляются хороших сортов, но простые: цветочных инок избегают и боятся, – от них волнение в крови, дурные мысли и тяжёлые сны. – «Думаешь согреться, – сказал мне странник на пароходе, – ан выходит искушение!».

Казалось бы, что столь недостаточное питание, при массе физического труда, выпадающего на долю валаамского монаха, должно истощать эту группу постников-энтузиастов, обращать их в людей вялых, бессильных, малокровных. Но нервный ли подъём в них так велик, благодатный ли воздух острова так действует, – только на Валааме почти не видишь больных, а, если заметишь страдальческое, недужное лицо, можно заранее смело утверждать: это недавний сюда пришелец, в котором ещё не перегорели привычки вне-монастырской жизни и который ещё не успел приспособиться ни духовной, ни телесной организацией к валаамскому строю. Правда, на Валааме нет и тех румяных, толстощёких лиц и обширных чрез⁴⁵, что так нередко встречаются в богатых монастырях средней России: идёт монах, лик у него лоснится, и – вот-вот из глаз вместо покаянных слёз стерляжья уха польётся... Общий тип валаамского монаха – сухой, мускулистый, костлявый человек, с загорелым, рабочим цветом лица, быстрой и твёрдой походкой. Народ сильный и выносливый гораздо более, чем обещает первый взгляд на них. Я всё жалел про себя, о. Андрея, рясофорного монаха, данного мне о. игуменом в проводники по Валааму: трудно, думаю, ему, – ведь кости да кожа, в чём душа держится!.. А «кости да кожа», как ни в чём не бывало, отстоял все положенные монастырские службы да потом – в лодку и гребут,

⁴⁵ Вероятно, имеется в виду: обширных боков. По крайней мере, в современном русском языке есть понятие «чрезвертельный перелом бедра», ясно указывающее на среднюю часть тела. Возможно также родство «чрез» с «чреслами» – устаревшим словом, обозначающим поясницу и бёдра.

не покладая рук, по шести часов сряду, на Никонов мыс или Предтеченский остров. Вернёмся – отдохнём часок, и опять стучится ко мне:

– Не поплыть ли нам к Большому скиту?

– Да ведь вы устали? Мне совестно вас мучить.

– Вот ещё! отчего тут устать?

Вообще, никогда не сознавал я, что гигиена есть дело условное, в большей мере, чем на Валааме. Если изложить условия иноческого быта любому гигиенисту, последний неминуемо должен сказать:

– Эти люди живут только по недоразумению; по науке каждый из них уже лет двадцать пять как покойник.

Между тем, достаточно пройтись по монастырскому братскому кладбищу, чтобы убедиться, что недоразумение долголетия на Валааме явление исконное, постоянное, массовое. Плиты и простой булыжник над могилами схимников сверкают удивительными датами. Умер 88, 84, 80, 88, 95 лет...

– Он ещё человек не старый: ему всего семьдесят лет, – сказал мне монах про особо чтимого теперь в обители иеросхимонаха о. Алексия.

Из исторических лиц Валаама – игумен Назарий умер 74 лет, Иннокентий – 85, Варлаам – 83, Дамаскин – 86, Ионафан II – 75, духовник Антоний – 78, иеросхимонах Никон – 80, схимонахи: Николай – 72, Сергей – 80, Михаил – 81, монах Афанасий – 80 и т. д., и т. д. Цифры поразительные; на мирских кладбищах они попадаются лишь в виде исключения, здесь они – общее правило. Смерть в среднем возрасте, не только в молодых годах, на Валааме – редкость из ряду вон.

В книгу «Валаамские подвижники» занесён, между прочим, послушник Василий: жертва чересчур сурового поста, который этот юноша принял на себя, не по силам своего молодого желудка. Он умер 22 лет. «Скончался в мале исполнь лета долга, угодна бо бе Господу душа его» – величественно говорит монастырский некролог. Среди святых, измождённых летами и трудами старцев валаамской истории, этот единственный юный мученик самоотречения производит и грустное, и красивое впечатление... Точно на седые и жёсткие мхи Валаама упала вдруг свежая, жизнерадостная роза, улыбающаяся всеми своими алыми лепестками... Упала – в надежде жить и благоухать миру; но север дунул на неё ледяным дыханием, и роза завяла, бессильно растеряв по граниту свои поблеклые лепестки. Преждевременная смерть юноши заметно отразилась глубоким впечатлением в сердцах валаамских старцев, её свидетелей. Из всех жизнеописаний «Подвижников

валаамских» биография послушника Василия – едва ли не самая тёплая, участливая. В ней звенят нотки, залётные из мира, контрабандой проскользнувшие в угрюмую среду самоотречения и сверхсильного труда «Бога ради».

– Помилуйте! Как же им не жить по сту лет? – говорил мне недавно один светский человек, – что им делается? Сидят себе в кельях, никакого горя не знают, душевного волнения испытывать не от чего, знай только Богу молятся да поклоны кладут. Их от смерти стережёт нравственная неподвижность. Не живут ведь – прозябают. Замуруйте в своей квартире, уйдите эгоистически в самого себя, посадите себя на педантически строгую диету, и можете быть уверены, что в таком апофеозе процесса самосохранения вы тоже проживёте лет до 75, а то и больше... Но стоит ли так жить? Вот вопрос!

Это обычное наше мирское мнение о монашестве и глубоко ложное: по крайней мере, во мне Валаам разбил его совершенно. Особенно хорошо в этих легкомысленных фразах «только». Только молится Богу, только кладёт поклоны... подумаешь, как легко это только! как оно согласно с «процессом самосохранения»!.. Жизнеописание почти каждого монаха строгой жизни заключается одними и теми же фразами: «У него отнялись ноги... распухли ноги... на ногах открылись раны... ноги стали как железные... ноги высохли... ноги стали в язвинах, и по язвинам роились черви». Монах Вениамин мучился таким недугом пятнадцать лет: с 1826 по 1842 год. Откуда это однообразие болезней, сводящих монашество в могилу? Да именно оттуда, что монах «только» молится, стоя в церкви и на келейном правиле – самое меньшее – часов восемь в сутки. Скончавшийся в 1894 году схимонах Иоанн, описанный Немировичем-Данченко в «Крестьянском царстве» под ещё монашеским его именем Иринаея, выбил в алтаре верхней церкви Предтеченского скита ямку на каменном полу земными поклонами. Молился он в церкви этой, холодной, не отапливаемой, и лето, и зиму. На дворе трещат морозы, в церкви мало теплее, чем на улице, а Иоанн, знай, простирается пред Распятием. Нынешний настоятель валаамской обители, о. Гавриил, был на послушании у схимонаха Иоанна.

– Ты бы, о. Иоанн, – советовал он старцу, – молился в нижней церкви: там всё же теплее.

– Ничего, свет! Здесь, на морозце-то, не так жарко поклоны класть!

Мантия Иоанна была всегда дырява на плечах – от часто и истово совершаемого крестного знамения.

Это ли похоже на самосохранение? А разве Иоанн исключение, единственный в своём роде пример? Старец Серафим (†1860), страдая страшную язвой во всю спину, не давал себя лечить, сдирая втихомолку налагаемые врачами пластыри, – и, несмотря на нестерпимую боль, до конца жизни исполнил всё монашеское правило и умер – в радостном экстазе неземных видений. Загляните в книгу валаамского пустынножительства: вы увидите ряд странных людей, которые весь быт свой направляют – по нашим понятиям – к тому, чтобы умереть от простуды, острого малокровия, истощения сил, желудочных и кишечных катаров, всяческих ревматизмов и пр., а живут, живут и живут – именно наперекор всей логике самосохранения.

Что поддерживает их? Экстаз? Но если так, то не грешно ли будет говорить об отсутствии волнений у этих затворников, о спокойствии их душевном, о невозмутимости, о нечувствительности к скорбям и радостям. Экстаз – сам по себе уже отрицание всякого спокойствия, он – высшая степень возбуждения и волнения; он даёт человеку болезненно-могучий, нервный подъём – аффект – и потом бросает его в глубину столь же болезненной реакции. Почти все эти люди пришли в монастырь и посвятили себя Богу, конечно, неспроста. Большинство загнано в иночество каким-либо тяжким житейским потрясением, горем, грехом, от которых совесть не властна сама избавиться, – одна надежда, что Бог избавит, коли посвятить Ему всю остальную жизнь. Сколько лет надо только на то, чтобы перекипела в душе горечь этой первой причины, сделавшей инока из мирского человека... Дамаскина не нужда, не отчаяние привели в монастырь, но призвание к аскетизму, а и то он до конца жизни своей не мог спокойно вспоминать, как прощался он с деревнею, уходя в монастырь.

«Из дому, – говорит биографическая записка, уже не раз мною помянутая, – его провожал родитель версты 3 пешком. Когда расстались, родитель вслед ему кланялся и кричал: «Дамианиушка, прощай!...» Последний раз поклонился ему и скрылся за горами. Всегда, как о Дамаскин вспомнит про это, – и заплачет».

Читая жизнеописания аскетов, нельзя не заметить ещё одну общую характерную черту в последних днях их, верную предвестницу скорого конца. Это – «дар слёзный», как с благоговением называют старческую слезливость подвижников товарищи-монахи и верующие богомольцы. Горький плач целыми часами, круглый день и изо дня в день – обычное состояние престарелого инока. У игумена Варлаама от постоянных слёз

совершенно выпали ресницы; духовник Евфимий даже и по смерти грезился ученикам своим не иначе, как в горьких слезах. Даже о самом энергичном, с железною волей, Дамаскине валаамцы говорят, что «в последнее время своей земной жизни батюшка очень часто плакал. Были и такие случаи: вдруг он начнёт плакать и плачет навзрыд по часу и более. Иногда за обедом начнёт плакать, так что мы и обед оставим, все выйдем из-за стола».

– Батюшка, о чём вы плачете? – спрашивали его.

Однажды он ответил:

– Я уйду, – искренно вырвалось у него, – я уйду, а вы останетесь, и назад...

Новый поток слёз не дал ему договорить, но все поняли, что он хотел сказать:

– И назад не приду.

Творцу нового Валаама смертно жаль было покидать своё детище и свою кипучую деятельность. В молодости, чтобы приучить себя к мысли о смерти, он спал в гробу. Теперь он отправился в свою старую пустыньку и велел при себе смерять этот забытый гроб.

– Не мал ли он мне теперь? Ведь тогда я худенький был.

И тут же рассказал:

– Бывало, ляжешь в него – станет холодно. Ну, закроешься крышкой, так скоро – душно станет, надо и открыть...

И прервал рассказ свой тяжким вздохом: видно, живо представилось ему, что близко время, когда – лёжа в душном гробу – и рад бы открыть тяжёлую крышку, да поздно уже: руки связаны смертным сном, и тело могильный червяк ест...

В другой раз приходит к Дамаскину рано поутру, по обычаю, один из должностных иеромонахов. Игумен в спальне один, сидит в кресле, согнулся, смотрит на икону, с тускло мерцающей пред ней лампадой, и тяжело вздыхает.

– Здоровы ли вы, батюшка? Что с вами?

Старик перевёл на вошедшего грустный взор и ничего не сказал.

– Что с вами? О чём вы тоскуете?

– Смертушка приходит, – отозвался, наконец, Дамаскин старым, мирским, крестьянским словом.

Эта бесконечная готовность к плачу – с медицинской точки зрения – конечно, явление истерическое и даже уже неврастеническое. Это – реакция организма на многолетние экстазы, поддерживавшие истощённое и

измученное тело вне правильного питания, достаточного сна, умеренного труда. Валаамский монах спит пять часов в сутки, не ест, а закусывает, собственно говоря, чем попало: как в сказке говорится, – «бежала через мосточек – ухватила кленовый листочек, бежала через грабельку – ухватила воды капельку...» – стоит на молитве восемь часов да пять-шесть работает, как вол, на назначенном ему послушании – либо на ферме, либо на конном дворе и пр. Диво ли, что такая экстатически-трудова́я жизнь в конце развинчивает нервы, и достаточно старости подать человеку первый сигнал о своём приближении, чтобы вся нервная система расхлябла, и недавно мужественный и бодрый подвижник обратился в живой фонтан слёз.

А работают иноки на себя пристально и крепко. На Валааме – в огромном хозяйстве его – нет ничего сделанного и делаемого не монашескими руками. Только в каменной кладке они не мастера, и приходится приглашать для неё рабочих со стороны. Двойное огорчение для монастыря: и расход, и... каменщику убойна нужна, он без мяса не работает, а кровопролитие на Валааме – ведь это переворачивается вверх дном весь устав, все местные традиции! Теплокровное животное неприкосновенно на монастырских островах. Здесь его не ждут ни выстрели охотничьих ружей, ни силки, ни сети и тенета – никакие ухищрения «жестокой забавы».

Поэтому странник на Валааме, приходя девственными лесами его, часто с удивлением переживает трогательные впечатления, которые раньше испытывал – да и то считая их за красивую сказку – лишь при чтении Одюбона, Майн Рида, Эмара. Дикий зверь здесь ничуть не боится человека. Заяц перебегает вам дорогу, садится в двух саженях от тропинки и, шевеля ушами, смотрит на вас искоса быстрыми, любопытными глазами. Бросьте в него щепкой или камешком – он встрепелится, отпрянет шагов на десять, поднимется столбиком и опять стоит – смотрит, балансируя лапками в воздухе, – только вот барабана нет, а то так бы и забарабанил.

По озеру в лодке плывёшь – рядом плавно качается на волнах, ничуть не смущаясь всплеском вёсел, семья белогрудых гагар, с гордо вытянутыми шеями. Вспугнуть их – прямо труда стоит: не верят, что здесь им может грозить серьёзная опасность. Хоть руками бери! Возле Коневского скита, на рыбном Дамаскиновом пруду, у мостика, по которому денно и ночью ходят монахи, а по праздникам – сотни богомольцев, пара гагар свила на камушке гнездо и жила в нём пятьдесят лет, возвращаясь на Валаам с каждым весенним прилётом. Сколько птенцов они вывели здесь и выкормили на глазах людских! Три года тому назад, улетев на осень, эти монастырские

птицы уже не вернулись по весне – к великому огорчению иноков. Старость ли обессилела их в пути и не позволила довершить перелёта, сокол ли растерзал – Бог их знает. Красивая птица гагара – «царица сих пустынных вод», как названа она в одном стихотворении. Я любил следить её странный полёт – низко-низко над озером, волнообразно ныряя в воздухе, с плеском цепляя за воду лапками, порхая упругими крыльями, оставляя за собой длинную веерообразную струю... Утром, чуть отворишь окно, – слышен сквозь мёртвую монастырскую тишину далёкий протяжный мык: совсем бы корова, только звук слабее, а тембр жёстче. Это проснулась и приветствует светлый день, выплывая на озеро кормиться, жизнерадостная гагара.

– Иш орёт! Ровно пароход! – заметил один богомолец, когда мы в поездке на Святой остров обогнали такую кричащую птицу, с целым выводком птенцов-подлетков. – Да и сама-то – фрегат фрегатом.

В самом деле – фрегат. Из всех озёрных птиц, каких случилось мне видеть на воле, гагара – самая водная. Я решительно не могу себе представить её на земле или высоко в воздухе: она – дитя воды, какая-то окрылённая рыба. Уж на что великолепно и величаво плавание лебедя, а всё же в нём чувствуется, что «гуси плавают от берега», что лебедь «думает», как плывёт и как надо плыть. Тело гагары – живой поплавок. Заснёт она на воде, под ветром, волна её несёт, а она всё-таки инстинктивным аппаратом каким-то ухитряется двигаться в нужном ей направлении.

Местами гагару едят. Мясо у неё синее, жёсткое и, если не снято подкожного жира, противно отдаёт рыбой. Неопытные, готовя гагару в кушанье, принимают за неё как за другую дичь – щиплют перья. Это обыкновенная шутка бывалых над новичками: вовлечь их в щипание гагары. Перья сидят на птице, как железное. Новичок щиплет, щиплет, все руки обломает, пот с него в три ручья льёт, – и, наконец, парень впадает в полное недоумение: что за бесова птица такая? и как же, наконец, надо с нею обращаться? Хохот шутников прерывает его напрасные труды:

– Да ты шкурку с неё дери! Чудак! Кто же с гагары перья щиплет?! Ведь это всё равно, что на камне мёд собирать.

Часто, пробираясь лесом, вы видите, как в отдалении, без ветра, качаются какие-то кусты. Зоркие глаза разглядят, в чём дело: это – рога оленей, столпившихся кучей в древесной тени... Под вечер валаамский лес живёт: каждый кус дрожит пробудившейся хищной жизнью. Крупных плотоядных – медведей, волков – здесь нет, но мелких хищников множество. Их тоже не трогают, и они тоже свыклись с людьми. Идёшь,

зашелестят кусты, юркнет через дорогу быстрый, грациозный зверок, – и две сверкнувшие искры зелёных глаз выдают страннику спокойно бегущую лисицу.

– Ты, мол, идёшь своей дорогой, и я по своим делам бегу, – мы друг другу не товарищи, но и не мешаем...

В придорожной яме стрегочет и ворочается крупный зверь, с белыми полосами вдоль спины. Это – барсук, исконный враг лисицы, вечно ею обиженный, выселяемый ею из опрятных и удобных нор своих – с таким постоянством и усердием, как ни один судебный пристав не выселяет, по жалобе домовладельца, жильца-неплательщика...

– Отчего вы не держите ручных зверей? – спросил я одного монаха.

– А зачем?

– Да интересно приручать их, следить, как они привыкают к человеку.

– Да чего приручать-то? Они у нас на острове и без приуки все ручные. Ровно – при Адаме и Еве, в раю. Одна разница, что змей у нас нету...

{Очерки эти не были мною окончены... Говорят, за семь лет Валаам изменился до неузнаваемости к худшему. Жаль, если так. Значит – пусть мои очерки останутся памятником красивого и, конечно, уже невозвратного прошлого... 1906}.

1899

Послесловие

Первый том «Перепечатника» завершён. В нём опубликована повесть Александра Валентиновича Амфитеатрова «Поездка на Валаам» (1899). Что мне принесла эта книга? Во многом её перепечатка стала следствием интереса к паломничеству, к православным монастырям, и в итоге коневец-валаамские заметки усилили его, сформировав устойчивое влечение посетить русские святыни. Впрочем, о результатах можно будет судить лишь позже.

Отдельные места «Поездки...» оказались очаровательно-смешными. Например, описание борьбы курильщиков с монастырскими запретами:

– Почему нельзя курить?

– Да потому, что нельзя.

– Позвольте, это обязательно братии монастырской, но не для нас, их гостей.

– Да они звали вас в гости-то?

– Н-нет... Но если я не могу не курить?

– Не ездите на Валаам.

– Да если любопытно?

– Любопытствуйте без табаку!

Помнится, я как-то написал статью про отношение Церкви к табакокурению⁴⁶. Приведённый выше фрагмент «Поездки на Валаам» отлично проиллюстрировал бы святоотеческий взгляд на эту проблему. А тогда та статья помогла мне самому бросить курить.

Впрочем, вернёмся к произведению Амфитеатров. С удивлением обнаружил я в «Поездке на Валаам» упоминание моей родной Тулы. В самом конце главы про Коневецкий монастырь автор поведал историю последних дней старца Афанасия, который «думал только о смерти и загробном расчёте за угасающую уже жизнь». А между тем Амфитеатров подметил, что «родом этот угрюмый ум был **из тульских оружейников – самого нищего, но самого весёлого и беспечного народа, между всеми ремесленниками России, отличенного наибольшим развитием способности ничуть не думать о завтрашнем дне**». Вот так характеристика оружейной столицы! Но, как говорится, из песни слова не выкинешь.

⁴⁶ https://m-kozhaev.ru/autootvetchik_006_tserkov-o-tabake/

И ведь, действительно, слова повести складывались подчас в настоящую поэму – настолько яркие и броские образы они вызывают в сознании. Когда я впервые прочёл термин «культуроносцы» – я был в настоящем восторге! Это же надо такое придумать: культуросец – тот, кто совершает несение культуры. Это будоражащее слово нужно взять на вооружение, на знамя! Было немало других замечательных выражений, например:

- «новорождённое утро»
- «нравственная таможня»
- «туристы валаамского режима»
- «экстатические чаепийцы» (а у меня в своё время была идея для названия музыкальной группы – «Чаепийцы»)
- «дурные мысли и тяжёлые сны» (это бы тоже подошло)
- «окрылённая рыба» – про гагару, самую водную птицу, которая не на земле и не в воздухе, а именно на воде проводит бóльшую часть жизни
- «молочные благодеяния» – про монаха, который принёс автору двойную порцию молока
- «подстоличные лавры» – очевидно, тут речь в первую очередь про Троице-Сергиеву лавру

Вообще, отношение А.В. Амфитеатрова к крупным и богатым монастырям весьма критическое. Про местных насельников, удивительно крупных по габаритам, писатель мог позволить себе подобную ремарку: «Идёт монах, лик у него лоснится, и – вот-вот из глаз вместо покаянных слёз стерляжья уха польётся...».

Возвращаясь к замыслу «Перепечатника» и вопросу, что мне дала «Поездка на Валаам» в духе подхода Пьера Менара (об этом смотрите в предисловии), то отвечу вам следующей фантазией. Я перепечатывал предложение, в котором были такие слова: «Только истинно-христианское милосердие может удержать от искушения ограбить и обмошенничать странствующую русскую бабу». В оригинале стояло «удержаться», что было очевидной ошибкой: либо милосердие поможет удержаться, либо милосердие может удержаться. Вероятно, автор опечатался или корректор не заметил – Бог весть. Я просто сделал правильно, и тут меня посетила шальная идея.

А что, если писатель умирает, но на небе никак не может упокоиться, потому что при каждой новой печати ошибку в его тексте не замечают и публикуют неправильно? Я же, получается, поправил «удержаться» на «удержать», потому что по смыслу так правильно, – и в результате дух

усопшего успокоился? А, может быть, это прям целый ряд писателей, и главный герой их всех успокаивает? Или, возможно, он дописывает их недописанные произведения с помощью ИИ? Ворих подобных мыслей накрыл меня в процессе работы, и я понял, что даже простое перепечатывание заряжает настроенного на соответствующую волну автора музаическим вдохновением. Кстати, «музаический» – неологизм, который я только что придумал, пока не мог подобрать другого эпитета к вдохновению.

В заключение повторяю, что вы можете подкидывать идеи, какое следующее дореволюционное произведение перепечатать во благо всем живущим. И что я сделаю это добровольно и бесплатно. Впрочем, на кое-какой гонорар с первого тома «Перепечатника» я всё же надеюсь. В начале второй части главы «Валаам» я познакомился с замечательной традицией местных монахов перед входом в келию брата стучать в дверь и произносить короткую Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И только после того, как насельник отвечал «Аминь!», стучавшийся мог открыть дверь и войти. Такой монашеский этикет. Так вот, меня так вдохновила эта традиция, что я отправил письмо в передачу «Что? Где? Когда?» с описанием обычая и вопросом: что позволял совершить посетителю тот самый «приветственный аминь»? Ответ вы уже знаете: открыть дверь и войти. Посмотрим, сможет ли письмо добраться до игрового стола и смогут ли знатоки ответить на мою каверзу. Но мой ответ на другой вопрос, который никто не задавал, сводится к следующему: вот какая полезная затея – перепечатывание!

Том первый – год 2026-й.

Михаил Кожяев

Март 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие перепечатника 3

А. В. Амфитеатров. Поездка на Валаам

I. Пароход «Александр» 12

II. Коневец 22

III. Валаам 1. 34

2. 47

3. 57

Послесловие 68

* * *

Михаил КОЖАЕВ

ПЕРЕПЕЧАТНИК

Том 1

А.В. Амфитеатров. Поездка на Валаам (1899)

Тула, 2026